МЭТТ ХЕЙГ

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА «ТРУДНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

КАК ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

Глазами своих необычных героев автор показывает нам, как прекрасна обычная жизнь.
The Guardian

Мэтт Хейг

Как остановить время

Издательство «Синдбад»

2017

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Хейг М.

Как остановить время / М. Хейг — Издательство «Синдбад», 2017

Том Хазард выглядит как обычный сорокалетний мужчина. Почти никто не знает, что на самом деле он живет уже пятое столетие. Том играл в одной труппе с Уильямом Шекспиром, ходил под парусами с капитаном Джеймсом Куком, водил компанию со Скоттом Фицджеральдом… Периодически меняя личности, Том может жить сколь угодно долго. Есть лишь одно условие – он не должен никого полюбить…

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

© Хейг М., 2017
© Издательство «Синдбад», 2017

Содержание

Часть первая 6
Шри-Ланка, три недели назад 8
Лос-Анджелес, две недели назад 9
Лондон, настоящее время 12
Лондон, 1623 17
Лондон, настоящее время 20
Лондон, 1860 22
Лондон и Сент-Олбанс, 1860–1891 27
Лондон, 1891 28
Лондон, настоящее время 30
Суффолк, Англия, 1599 год 33
Лондон, настоящее время 35
Суффолк, Англия, 1599 37
Лондон, настоящее время 40
Суффолк, Англия, 1599 42
Часть вторая 44
Лондон, настоящее время 44
Сент-Олбанс, Англия, 1891 49
Атлантический океан, 1891 51
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Мэтт Хейг
Как остановить время

Matt Haig
HOW TO STOP TIME

Copyright © Matt Haig, 2017

Published in the Russian language by arrangement with
Canongate Books and The Van Lear Agency

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd, 2018
Publisher and Editor-in-Chief Alexander Andryushchenko

© Matt Haig, 2017
© Sindbad Publishers Ltd, 2018
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2019

* * *

Посвящается Андреа

Я часто вспоминаю наставление, которое больше ста лет назад услышал от Хендрика в его нью-йоркской квартире.

– Первое правило – не влюбляться, – начал он. – Есть и другие, но это – главное. Не влюбляться. Не любить. Не мечтать о любви. Придерживайся этого правила, и с тобой все будет в порядке.

Сквозь завитки дыма от его сигары я вглядывался в поваленные ураганом деревья в Центральном парке.

– Сомневаюсь, что смогу когда-нибудь снова полюбить, – произнес я.

Хендрик улыбнулся улыбкой дьявола, за которого вполне сошел бы.

– Вот и хорошо. Тебе, конечно, не запрещается любить еду, музыку, шампанское и редкие в октябре солнечные дни. Можешь любить красоту водопадов и запах старинных книг, но любить женщин – запрещается. Ты меня слышишь? Не привязывайся к людям и старайся поменьше сочувствовать новым знакомым. Иначе пеняй на себя…

Часть первая
Жизнь среди однодневок

Я стар.

Это первое, что я должен вам сказать. Чему вы вряд ли поверите. Увидев меня, вы решите, что мне около сорока, и сильно ошибетесь.

Я *стар*, как бывают старыми деревья, молюски-венерки либо картины эпохи Ренессанса.

Поясню: я родился более четырехсот лет назад, третьего марта 1581 года, в спальне моих родителей, на третьем этаже небольшого французского замка, который был моим домом. День стоял не по сезону теплый, и моя мать попросила кормилицу отворить все окна.

– Господь тебе улыбнулся, – сказала мать. Думаю, что добавила при этом: – Если он все же существует.

С тех пор ее улыбка навсегда сменилась нахмуренными бровями.

Моя мать умерла очень давно. А я вот не умер.

Видите ли, организм мой пребывает в весьма своеобразном состоянии.

Довольно долго я думал, что это недуг, но недуг – слово не совсем точное. Недуг предполагает плохое самочувствие и постепенное угасание. Я предпочитаю говорить об особом состоянии. Редком, но не уникальном. О котором не известно никому, кроме тех, кто в нем пребывает.

О нем не пишут в серьезных научных журналах. Нет у него и официального медицинского названия. Один из признанных медицинских авторитетов впервые, еще в 1890-е, предложил термин *anageria*[1], но по причинам, о которых будет сказано ниже, он так и не получил широкого распространения.

Состояние это развивается в переходном возрасте. В общем-то ничего особенного при этом не происходит. Вначале «страдалец» даже не замечает, что с ним что-то не так. В конце концов, проснувшись поутру, человек видит в зеркале то же лицо, что видел накануне. Изо дня в день, из недели в неделю, даже из месяца в месяц человек не меняется разительным образом.

Но по прошествии времени, в дни рождения и другие знаменательные даты, окружающие начинают замечать в нем полное отсутствие признаков взросления.

На самом деле такой человек вовсе не перестает стареть. Он стареет, как и все прочие. Только гораздо медленнее. Скорость старения среди подверженных анагерии может незначительно колебаться, но в основном составляет 1:15. Некоторые стареют на год за тринадцать или четырнадцать лет, я – скорее за пятнадцать.

Стало быть, мы не бессмертны. Наш разум и тело не перестают развиваться. Однако согласно последним – постоянно пересматриваемым – научным данным, наши возрастные изменения, включая деградацию тканей на молекулярном уровне, нарушение межклеточных взаимодействий, клеточные и молекулярные мутации (в том числе, что особенно важно, в ядерной ДНК), – происходят в другие временные интервалы.

Мои волосы поседеют. Возможно, я облысею. Не исключены артрит и старческая глухота. Может развиться возрастная дальнозоркость. Со временем я стану терять мышечную массу и подвижность.

Одно из возможных проявлений анагерии заключается в укреплении иммунной системы, которая будет защищать вас от многих (но не от всех) вирусных и бактериальных инфекций; но постепенно это свойство сходит на нет. Не хочу утомлять вас научными выкладками, но суть в том, что в лучшие годы наш костный мозг производит больше кроветворных стволовых

[1] Анагерия (*лат.*) – отсутствие возрастных изменений, старения. – *Здесь и далее – прим. пер.*

клеток – из которых образуются лейкоциты, – однако важно отметить, что это не спасает нас от травм и неправильного питания, да и длится этот период недолго.

Так что не считайте меня этаким сексуальным вампиром, навечно зависшим на пике половой зрелости. Должен, впрочем, сказать, что поневоле почувствуешь себя едва ли не бессмертным героем, если, судя по изменениям твоей внешности, между смертью Наполеона и высадкой первого человека на Луну прошло не больше десяти лет.

Окружающие ничего о нас не знают, в частности потому, что большинство людей не готово поверить, что такое возможно.

Как правило, люди попросту отказываются принимать то, что не укладывается в рамки их мировосприятия. Конечно, вы запросто можете сказать: «Мне четыреста тридцать девять лет», но в ответ, скорее всего, услышите: «Ты в своем уме?» Или: «Значит, ты давно помер?»

Люди не знают о нас и по другой причине – мы находимся под защитой. Существует нечто вроде организации. Любой, кто откроет наш секрет и поверит в него, рискует существенно уменьшить срок своей и без того недолгой жизни. То есть опасность исходит не только от обычных людей.

Она также идет изнутри.

Шри-Ланка, три недели назад

Чандрика Сеневиратне лежала в тени дерева, метрах в ста позади храма. Муравьи ползали по ее морщинистому лицу. Глаза ее были закрыты. Услышав шорох в пышной кроне, я поднял голову и поймал пристальный взгляд обезьянки.

Я попросил рикшу отвезти меня к храму, где обитают обезьянки: мне хотелось понаблюдать за ними. Он сообщил, что эти красно-коричневые обезьяны с практически безволосыми мордами называются rilewa.

– Они под угрозой вымирания, – сказал рикша. – Их осталось совсем немного. Тут они и живут.

Обезьянка метнулась прочь. И исчезла в листве.

Я потрогал руку женщины. Холодная. Наверно, пролежала тут, никем не замеченная, около суток. Не выпуская ее руки, я почувствовал, что плачу. Трудно было разобраться в собственных чувствах. Меня захлестнула волна сожаления, облегчения, скорби и страха. Жаль, что Чандрика уже не ответит на мои вопросы. Но какое счастье, что мне не надо ее убивать! Я знал, что она при смерти.

Чувство облегчения сменилось чем-то другим. Возможно, виной тому был стресс, возможно, жара, а быть может, съеденные мной на завтрак местные блины с яйцом, но меня вырвало. И именно в тот момент мне стало ясно: *я больше не могу этим заниматься.*

В храме не было телефона, так что я вернулся в свой номер в отеле в старом форте Галле и забрался под москитный полог; истекая липким потом, уставился на совершенно бесполезный вялый вентилятор на потолке и наконец позвонил Хендрику.

– Ты сделал что положено? – спросил он.

– Да, – ответил я. Это была полуправда. Ведь все кончилось так, как он хотел. – Она умерла.

Затем я задал вопрос, который задавал всегда:

– Ты нашел ее?

– Нет, – как всегда, сказал он. – Мы ее не нашли. Пока не нашли.

Пока. Это слово может держать вас в капкане десятилетиями. Но я обрел новую уверенность.

– Хендрик, пожалуйста, хватит. Я хочу жить обычной жизнью. Я больше не хочу этим заниматься.

Он устало вздохнул.

– Нам надо встретиться. Очень уж давно мы не виделись.

Лос-Анджелес, две недели назад

Хендрик приехал в Лос-Анджелес. Он не жил здесь с 1920-х годов и решил, что может вернуться без опаски, поскольку никого из тех, кто мог бы его помнить, уже не осталось в живых. В Брентвуде у него был большой дом, служивший штаб-квартирой Обществу «Альбатрос». Брентвуд идеально подходил Хендрику. Благоухающая геранью территория, большие виллы, спрятанные от посторонних глаз за высокими оградами, стенами или живыми изгородями, на улицах ни единого пешехода; даже деревья, как все здесь, казались идеальными, чуть ли не стерильными.

Я был слегка потрясен, когда увидел Хендрика; он сидел в шезлонге возле большого бассейна, с ноутбуком на коленях. Обычно Хендрик внешне не менялся, но тут изменения бросались в глаза. Он *помолодел*. Он был по-прежнему стар и явно страдал подагрой, но выглядел, пожалуй, лучше, чем в последние сто лет.

– Привет, Хендрик, – поздоровался я. – Отлично выглядишь.

Он молча кивнул, давая понять, что ничего нового не услышал, и добавил:

– Ботокс. И подтяжка бровей.

Он вовсе не шутил. В этой новой жизни он был вышедшим на пенсию пластическим хирургом. По легенде, оставив практику, он переехал из Майами в Лос-Анджелес, чтобы избежать ненужных расспросов про бывших клиентов из числа местных жителей. Здесь его звали Гарри Сильвермен. («Сильвермен. Как тебе имечко? Прямо как у престарелого супергероя. Отчасти так оно и есть».)

Я уселся на свободный шезлонг. Появилась Роузелла, его горничная, неся на подносе два бокала с коктейлем цвета заходящего солнца. Я взглянул на руки Хендрика. Руки старика. Пигментные пятна, обвисшая кожа и сине-фиолетовые вены. Лицу ложь дается легче, чем рукам.

– Облепиховый. Рехнуться можно. На вкус полное дерьмо. Попробуй!

Хендрик удивительным образом никогда не отставал от времени. Это, мне кажется, ему удавалось всегда. Во всяком случае, с 1890-х годов. И даже, наверное, сотни лет назад, когда он торговал тюльпанами. Чудеса. Он был старше любого из нас и при этом всегда чуял дух времени.

– Фишка в том, – изрек он, – что в Калифорнии единственный способ выглядеть с течением времени старше, – это выглядеть моложе. Если после сорока ты на вид не молодеешь, окружающие заподозрят неладное.

Он рассказал, что пару лет прожил в Санта-Барбаре, а потом это ему наскучило.

– Санта-Барбара – местечко приятное. Прямо рай, только машин больше. Но в раю никогда ничего не происходит. Я жил в доме на холме. Каждый вечер пил местные вина. Но потихоньку сходил с ума, начались панические атаки. Я более семисот лет прожил без единого приступа. Видел войны и революции. Хоть бы что. Но стоило осесть в Санта-Барбаре на своей комфортабельной вилле, и я стал просыпаться среди ночи от жуткого сердцебиения: казалось, меня загнали в ловушку. Лос-Анджелес – дело другое. Лос-Анджелес сразу меня успокоил, можешь мне поверить…

– Чувство покоя. Должно быть, приятное чувство.

Некоторое время он смотрел на меня изучающе, как на произведение искусства, исполненное глубокого смысла.

– В чем дело, Том? Соскучился?

– Пожалуй, да, соскучился.

– Так что с тобой? Неужто в Исландии было плохо? Я прожил в Исландии восемь лет, до того как меня ненадолго направили на Шри-Ланку.

– Очень одиноко.

– Но мне казалось, после Торонто ты сам искал уединения. Ты еще говорил тогда, что подлинное одиночество испытываешь только в толпе. И вообще, такие уж мы, Том. Одиночки.

Я сделал глубокий вдох, словно хотел нырнуть и проплыть под следующей фразой.

– Я больше не хочу так жить. С меня хватит.

Особой реакции не последовало. Он и глазом не моргнул. Я рассматривал его узловатые кисти с опухшими суставами.

– Никаких *«хватит»*, Том. Ты сам это знаешь. Ты же альбатрос. Не однодневка какая-то. Ты – альбатрос.

Альбатросов он вспомнил не случайно: в прежние времена эти птицы считались редкостными долгожителями. На самом деле они живут около шестидесяти лет, гораздо меньше, чем, например, гренландские акулы: отдельные особи доживают до четырехсот лет. Или чем венерка Мин, получившая от ученых свое имя благодаря тому, что родилась более пятисот лет назад, в эпоху династии Мин. Словом, мы – альбатросы. Или, для краткости, альбы. А всех остальных людей на Земле пренебрежительно называем однодневками, в честь водных насекомых, чей жизненный цикл составляет один день, а у некоторых подвидов – пять минут.

Итак, обычных людей Хендрик именовал однодневками. Я же чем дальше, тем больше находил подобную терминологию, с которой успел свыкнуться, крайне нелепой.

Альбатросы… Однодневки… Абсурд!

При всем своем уме и несмотря на преклонный возраст, Хендрик был глубоко инфантилен. Сущее дитя. Невероятно древнее дитя.

Поэтому знакомство с другими альбатросами наводило на меня тоску. Становилось ясно, что никакие мы не особенные. И не супергерои. Просто *старые*. Поэтому в случае индивидов вроде Хендрика не имело особого значения, сколько лет, десятилетий или даже столетий они прожили: вырваться за рамки параметров собственной личности не удавалось никому. Масштабы времени и пространства тут ни при чем. От себя не убежишь.

– Откровенно говоря, я считаю, это просто неучтиво, – сказал он. – После всего, что я для тебя сделал.

– Я очень ценю то, что ты для меня сделал… – сказал я и в замешательстве смолк. А что конкретно он для меня сделал? Своих обещаний он так и не выполнил.

– Ты хоть представляешь себе, Том, *что такое* современный мир? Он, Том, совсем другой… Теперь нельзя просто куда-то переехать и внести свое имя в приходскую книгу. Ты хоть знаешь, сколько мне приходилось *платить*, чтобы ты и все остальные были в безопасности?

– Ну, так я сэкономлю тебе часть денег.

– Я никогда от тебя не скрывал: это дорога с односторонним движением…

– А я никогда не просил отправлять меня по этой дороге.

Он через соломинку потянул смузи и поморщился: невкусно.

– Но такова жизнь, неужели не понятно? Послушай, мальчик…

– На мальчика я вряд ли тяну.

– Ты сам сделал выбор. Ты же сам просил о встрече с доктором Хатчинсоном…

– Никогда не попросил бы, знай я, что с ним случится.

Поболтав соломинкой в стакане, Хендрик поставил его на столик подле кресла: пора было принимать глюкозамин от артрита.

– Тогда придется организовать твое убийство. – Он разразился особым каркающим хохотом, давая понять, что пошутил. Но он не шутил. Какое там. – Готов заключить сделку, своего рода компромисс. Я дам тебе возможность жить той жизнью, какой ты пожелаешь, – но, как всегда, каждые восемь лет буду тебе звонить, а перед тем, как ты выберешь свое новое обличье, попрошу тебя кое-что сделать.

Разумеется, я и раньше все это уже слышал. Хотя выражение «жить той жизнью, какой ты пожелаешь» нельзя было понимать буквально. Он всегда предлагал мне на выбор штук пять вариантов. Да и мой ответ он слышал не впервые.

– Новости о ней есть? – Я задавал этот вопрос уже сотни раз, но никогда еще он не звучал так жалобно, так безнадежно.

Он уставился в свой бокал.

– Нет.

Я подметил, что в этот раз он ответил чуть быстрее обычного.

– Хендрик?

– Нет. Нового ничего. Зато, представляешь, мы находим необычайно много новых людей, причем все чаще. В прошлом году больше семидесяти. Помнишь, как это было, когда мы только начали поиски? В удачный год человек пять. Если ты все еще хочешь ее разыскать, уходить сейчас было бы безумием.

Я услышал легкий всплеск в бассейне. Поднялся и подошел к бортику. И увидел отчаянно барахтавшуюся мышку: ее затягивало в водяной фильтр. Опустившись на колени, я выудил ее из бассейна. Она юркнула в идеально подстриженную траву газона.

Выбора у меня не было, и Хендрик прекрасно это понимал. Живым от него не уйти. Да и будь такая возможность, проще все же остаться. Так было спокойнее – как со страховым полисом.

– Любую жизнь, какую пожелаю?

– Любую, какую пожелаешь.

Я почти не сомневался, что верный себе Хендрик решит, что я потребую что-то из ряда вон выходящее и безумно дорогое. Вроде жизни на яхте у Амальфитанского побережья или в пентхаусе в Дубаи. Но я еще прежде обдумал все варианты и знал, что мне нужно.

– Хочу вернуться в Лондон.

– Лондон? Но ее там может и не быть, это ты понимаешь?

– Понимаю. Просто хочу туда вернуться. Чтобы снова почувствовать себя дома. Хочу быть учителем. Учителем истории.

Он засмеялся:

– Учителем истории. Что, в старшей школе?

– В Англии говорят «в средней школе». Да, учителем истории в старших классах школы. По-моему, это достойное занятие.

Хендрик улыбнулся и бросил на меня чуть смущенный взгляд, будто я предпочел лобстеру цыпленка.

– Отлично. Так. Осталось уточнить кое-какие детали…

Хендрик продолжал говорить, а я следил за мышью: она пролезла под живой изгородью и растворилась в сумерках – на свободе.

Лондон, настоящее время

Лондон. Первая неделя моей новой жизни.

Кабинет директора в школе Окфилда.

Стараюсь выглядеть обычным, что дается мне все труднее. Прошлое стремится вырваться наружу.

Нет.

Уже вырвалось. Прошлое всегда здесь. В кабинете пахнет растворимым кофе, дезинфекцией и синтетическим ковром, зато висит бумажный портрет Шекспира.

Где только его не увидишь. Высокий, с залысинами, лоб, бледная кожа, пустые глаза наркомана. Ни капли не похож на настоящего Шекспира.

Я снова перевел взгляд на директора, Дафну Белло. В ушах оранжевые обручи серег. В черной гриве поблескивают редкие седые волоски. Она улыбнулась мне задумчивой улыбкой. На такую улыбку способны лишь те, кто перешагнул сорокалетний рубеж. В ней есть и грусть, и вызов, и легкая усмешка.

– Я работаю здесь очень давно.

– В самом деле? – отозвался я.

Где-то вдалеке затих вой полицейской сирены.

– *Время*… – обронила она. – Странная это штука, верно?

Изящно придерживая за краешек бумажный стакан с кофе, она поставила его рядом с компьютером.

– Страннее некуда, – согласился я.

Дафна мне нравилась. И это собеседование тоже. Я был рад вновь оказаться здесь, в Лондоне, в районе Тауэр-Хамлетс, на собеседовании с целью получить заурядную работу. До чего здорово хоть раз почувствовать себя *заурядным*.

– Я преподаю уже тридцать лет. Здесь – два года. Как подумаешь – тоска берет. Так давно!.. Вот какая я старуха… – Она вздохнула и улыбнулась.

Мне всегда смешно слышать подобное.

– Глядя на вас, не верится, – принято говорить в таких случаях, что я и сделал.

– Вы просто прелесть! Вам – зачет! – Она залилась смехом, повысив голос по меньшей мере на две октавы.

Ее смех представился мне невидимой экзотической птицей откуда-то с Сент-Люсии (где родился ее отец), улетающей прочь, в серое небо за окном.

– Вот бы стать молодой, как вы, – посмеиваясь, сказала она.

– Сорок один – не совсем юный возраст, – возразил я, напирая на абсурдное число. *Сорок один. Сорок один. Вот сколько мне лет.*

– Вы прекрасно выглядите.

– На днях вернулся из отпуска. Может, поэтому…

– Были в приятном месте?

– На Шри-Ланке. Да, было неплохо. Кормил черепах прямо в море…

– Черепах?

– Да.

Я посмотрел в окно: женщина вела на игровую площадку стайку облаченных в школьную форму детей. Женщина остановилась и повернулась к детям. Мне стало видно ее лицо, хотя я не слышал, что она говорит. Она была в очках, джинсах и длинной шерстяной кофте, полы которой раздувал ветер; волосы заложены за уши. Один из учеников что-то сказал, и она засмеялась. От смеха ее лицо просветлело, на миг меня очаровав.

Проследив направление моего взгляда, Дафна, к моему смущению, сказала:

– Это Камилла, наша учительница французского. Прекрасный педагог. Дети ее обожают. Она постоянно проводит уроки на свежем воздухе. Такая у нас школа.

– Я вижу, вы тут добились замечательных успехов, – восхитился я, намереваясь вернуть разговор в прежнее русло.

– Я стараюсь. Мы все стараемся. Хотя порой ошибки неизбежны. Только это меня в вашем случае и смущает. Рекомендации у вас выше всяческих похвал. Мне их тщательно проверили…

У меня камень с души свалился. Не потому, что она затеяла проверку, а потому, что нашелся кто-то, ответивший на звонок или электронное письмо.

– …У нас здесь не загородная общеобразовательная школа в Суффолке. Это Лондон. Это Тауэр-Хамлетс.

– Дети всюду дети.

– Дети-то прекрасные. Но здесь другое окружение. У них нет таких возможностей. А вы, как я понимаю, вели относительно безмятежную жизнь, – это-то меня и беспокоит.

– Вы бы удивились…

– Большинство наших учеников тратит силы на борьбу с сегодняшними трудностями, им не до прошлого. Их волнует только суровая реальность. Заинтересовать их – вот главная задача. Как вы оживите историю?

Самый простой в мире вопрос.

– История не нуждается в оживлении. История уже *жива*. Мы сами история. История – это не политики и не короли с королевами. История – это каждый человек. Мир вокруг нас. В том числе этот стаканчик кофе. Всю историю капитализма, империализма и рабства можно изложить, всего лишь рассказав о кофе. Подумать страшно, сколько крови и страданий потребовалось для того, чтобы мы могли, сидя здесь, потягивать кофе из картонного стаканчика.

– Мне что-то расхотелось пить кофе…

– О, прошу прощения. Но суть в том, что история повсюду. Людям необходимо это осознать. Чтобы понять, какое место они занимают в мире.

– Верно.

– История – это люди. Все любят историю.

Наклонив голову и подняв брови, Дафна посмотрела на меня с сомнением:

– И вы в это верите?

Я слегка кивнул:

– Она просто заставляет их убедиться: все, что они говорят, делают и видят, есть результат того, что произошло раньше. Благодаря Шекспиру. Благодаря каждому человеку, когда-либо жившему на свете.

Я снова посмотрел в окно. С третьего этажа открывался прекрасный вид, который не портила даже серая лондонская морось. Я увидел здание Георгианской эпохи, мимо которого ходил много раз.

– В том здании, вон там, видите? – с множеством дымовых труб на крыше – раньше был сумасшедший дом. А там, – я указал на другое кирпичное строение, пониже, – располагалась скотобойня. Там собирали старые кости и делали из них фарфор. Если бы двести лет назад мы проходили мимо, то слева до нас доносились бы вопли людей, объявленных обществом безумцами, а справа – рев скотины, ведомой на убой…

Если, если, если.

Я указал пальцем на крытые шифером плоские крыши к востоку от нас.

– А вон там, в булочной на Олд-Форд-роуд, собирались под предводительством Сильвии Панкхёрст суфражистки Восточного Лондона. Неподалеку от старой спичечной фабрики висел их огромный плакат с намалеванным золотой краской призывом «ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЖЕНЩИН!». Не заметить его было просто невозможно.

Дафна сделала в блокноте какую-то пометку.

– Вы, я вижу, еще и музыкант. Играете на гитаре, фортепиано и даже на скрипке.

А также на лютне, – добавил я про себя. – *И на мандолине. И на кифаре. И на жестяной дудочке.*

– Да.

– Мартин сгорит со стыда.

– Мартин?

– Наш учитель музыки. Безнадежен. Абсолютно безнадежен. Еле-еле бренчит на треугольнике. При этом воображает себя рок-звездой. Бедняга.

– Просто я люблю музыку. Обожаю играть. Но учить музыке очень трудно. Мне всегда было трудно даже рассуждать о музыке.

– В отличие от истории?

– В отличие от истории.

– И, судя по всему, вы в курсе современных образовательных программ.

– Да, – с легкостью соврал я. – Само собой.

– И при этом вы еще так молоды.

Я пожал плечами и придал лицу подобающее выражение.

– Мне пятьдесят шесть. Поверьте, человек в сорок один год для меня юнец.

В сорок один вы юнец.

В восемьдесят восемь вы молоды.

В сто тридцать вы по-прежнему молоды.

– Ну, я скорее *престарелый* сорокаоднолетний…

Она улыбнулась. Щелкнула кнопкой авторучки. Снова щелкнула. Каждый щелчок – одно мгновение. Щелчок, пауза, второй щелчок. Чем дольше живешь, тем труднее ухватывать каждое крошечное мгновение. Чтобы жить не в прошлом и не в будущем. Чтобы пребывать в настоящем. Вечность, говорила Эмили Дикинсон, состоит из совокупности бесчисленных мгновений настоящего. Но как удержаться в текущем миге? Как не дать призракам всех прочих мгновений проникнуть в него? Короче, как вообще жить?

Мысли у меня разбегались.

Со мной это происходило все чаще. Я и раньше про такое слыхал. Другие альбы об этом толковали. Когда перевалишь за половину отпущенного тебе срока, тебя переполняют мысли, распирают воспоминания. Появляется головная боль. Сегодня было еще терпимо, но забыть о себе боль не давала.

Я постарался сосредоточиться. Удержать момент настоящего, в котором всего несколько секунд назад я наслаждался процессом собеседования. Наслаждался ощущением относительной обыкновенности происходящего. Или ее иллюзией.

Никакой обыкновенности в природе не существует. По крайней мере, для меня.

Надо собраться. Я посмотрел на Дафну: она качала головой, негромко посмеиваясь каким-то своим мыслям. Не слишком веселым, если судить по ее остановившемуся взгляду.

– Что ж, Том, должна сказать, что вы и ваше заявление произвели на меня очень благоприятное впечатление.

Том.

Том Хазард[2].

Мое имя – подлинное имя – Этьен Томас Амбруаз Кристоф Хазард. С него все началось. С тех пор каких только имен я не носил и чем только не занимался. Но, впервые попав в Англию, я вскоре растерял все завитушки и стал просто Томом Хазардом.

[2] Случай, случайность, шанс (*англ.*).

Сейчас, услышав его, я почувствовал себя так, словно вернулся домой. Имя эхом звучало у меня в ушах. *Том. Том. Том. Том.*

– Вы выбили сто из ста. Но вы бы получили эту работу в любом случае.

– Правда? Почему?

Она удивленно подняла брови:

– Потому что других соискателей нет!

Мы дружно рассмеялись.

Но смех умер, едва родившись и прожив меньше однодневки.

Потому что она продолжила:

– Я живу на Чэпел-стрит. Что-нибудь знаете об этой улице?

Еще бы мне не знать! От ее вопроса я вздрогнул, как от порыва ледяного ветра. В висках застучало. Перед глазами возникло лопающееся в духовке яблоко. Зря я сюда вернулся. Зря просил об этом Хендрика. Я подумал о Роуз, о нашей последней встрече, о ее полных отчаяния глазах.

– Чэпел-стрит… Не припоминаю. Нет. Нет, боюсь, не знаю.

– Не волнуйтесь. – Она отхлебнула кофе.

Я бросил взгляд на портрет Шекспира. Кажется, он смотрел на меня как на старого друга. Под портретом – цитата.

Мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать[3].

– У меня предчувствие насчет вас, Том. Предчувствиям стоит доверять, как вы думаете?

– Пожалуй, да, – ответил я, хотя чему-чему, а предчувствиям я никогда не доверял.

Она улыбнулась.

Я улыбнулся в ответ.

Встал и направился к двери.

– До встречи в сентябре.

– Ха! В сентябре! Сентябрь… Время пролетит, и не заметишь… Время, это, понимаете, такая штука. Кстати, вот вам еще одна примета старости – ход времени ускоряется.

– Хорошо бы, – пробормотал я.

Она меня не услышала и продолжила:

– И дети.

– Что, простите?

– Дети тоже ускоряют бег времени. У меня трое детей. Старшей дочери двадцать два года. В прошлом году она защитила диплом. Вроде бы еще вчера играла в «Лего», а сегодня получает ключи от собственной квартиры. Двадцать два года промчались, я и глазом моргнуть не успела. А у вас есть дети?

Я стиснул дверную ручку. Снова он, момент истины. Пока он длится, в нем с болью оживают тысячи других.

– Нет, – сказал я, что для меня было проще, чем выдать правду. – У меня нет детей.

Дафна, видимо, почувствовала неловкость. Я ждал, что она что-то добавит, но вместо этого услышал:

– До встречи, мистер Хазард.

В коридоре, где тоже воняло дезинфекцией, на полу, привалившись к стене, сидели два подростка и с истовостью старых священников, читающих молитвенник, таращились в свои смартфоны. Я обернулся к Дафне: она уже уставилась в компьютер.

– Да, до встречи.

Я вышел из кабинета Дафны Белло, а затем и из школы, пребывая одновременно в двадцать первом веке и в семнадцатом.

---

[3] Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский. Пер. М. Лозинского.

Весь путь до Чэпел-стрит – около мили чередования букмекерских контор, тротуаров, автобусных остановок, бетонных фонарных столбов и унылых граффити – я проделал словно в трансе. Улицы казались слишком широкими. Домишки на Чэпел-стрит исчезли, на их месте в начале девятнадцатого века выросли высокие и строгие – под стать породившей их эпохе – здания красного кирпича.

На углу, где, помнится, стояла маленькая заброшенная церковка, возле которой вечно ошивался сторож, теперь разместилась закусочная KFC. Ее красный пластик пульсировал рваной раной. Зажмурившись, я прошел дальше по улице, пытаясь по памяти найти тот дом, и шагов через двадцать остановился. Открыл глаза. Дом, соединенный общей стеной с соседним, ничем не напоминал тот, в который я пришел сотни лет назад. Без номера над входной дверью, по нынешней моде выкрашенной синим. В окне гостиной виднелся телевизор, подключенный к игровой приставке. На экране взорвался инопланетянин. Голова у меня раскалывалась, я едва держался на ногах, будто вернувшееся прошлое всосало в себя почти весь кислород из воздуха или изменило законы тяготения. Отступив на шаг, я прислонился к припаркованной машине – очень осторожно, не наваливаясь всем телом, – но все равно сработала сигнализация.

Ее оглушительный вой прозвучал для меня горестным воплем, оплакивающим всю мою жизнь начиная с 1623 года. Я поспешил убраться подальше от этого дома, с этой улицы, сожалея, что не могу с такой же легкостью уйти от прошлого.

Лондон, 1623

Я был влюблен всего один раз в жизни. Так что в известном смысле я, пожалуй, романтик. Сладостная мысль о том, что тебе повезло встретить настоящую любовь, с которой не сравнится ничто на свете, вскоре грубо вытесняется кошмаром реальности. Наступает *после* – бесконечные годы, а то и века одиночества. И ты продолжаешь существовать, хотя смысл твоего существования исчез.

Смыслом моего существования была Роуз.

После того как ее не стало, большая часть чудесных воспоминаний стерлась, оставив в памяти только ее кончину. Конец стал ужасным началом. Помню последний день, который я провел с ней. Этот день, когда я направился на Чэпел-стрит, чтобы повидаться с ней, многое определил на грядущие века.

Итак…

Я стоял перед ее дверью. Постучал. Подождал и вновь постучал.

Стоявший на углу церковный сторож, мимо которого я только что прошел, сделал ко мне пару шагов.

– Это меченый дом, парень.

– Да, я знаю.

– Не ходил бы ты туда… Небезопасно это.

Я вытянул руку:

– Отойди. На мне то же проклятие. Не подходи.

Разумеется, это была ложь, но она сработала. Сторож поспешно отступил подальше.

– Роуз, – позвал я через дверь. – Это я. Это я, Том. Я только что виделся с Грейс. У реки. Она мне сказала, что ты здесь…

Через некоторое время из-за двери донесся голос:

– Том?

Я уже много лет его не слышал.

– Роуз, открой дверь, мне очень надо тебя увидеть.

– Не могу, Том. Я больна.

– Я знаю. Но я не заражусь. В последние месяцы я имел дело со многими больными, но не подхватил ничего тяжелее простуды. Ну же, Роуз, открой дверь.

Она послушалась.

Я увидел женщину в годах. Когда-то мы с ней были почти ровесниками, однако теперь на вид ей было под пятьдесят, тогда как я по-прежнему выглядел подростком.

Кожа землистого оттенка. Лицо в язвах напоминало географическую карту. Роуз едва держалась на ногах. Я корил себя за то, что вынудил ее подняться с постели, но она явно обрадовалась моему появлению. Пока я укладывал ее назад, она бессвязно бормотала:

– Ты так молодо выглядишь… Совсем как раньше… Такой же молодой… почти мальчик.

– У меня появилась морщинка, вот тут, на лбу. Смотри.

Я взял ее за руку. Морщинку она не разглядела.

– Мне так жаль, – проговорила Роуз. – Жаль, что я велела тебе уехать.

– И правильно сделала. Мое присутствие представляло для вас угрозу.

На всякий случай должен заметить: я не могу ручаться за дословное изложение нашего разговора. Смысл я передаю верно, но, возможно, другими словами. Тем не менее происходящее запомнилось мне навсегда; ведь если мы за что и цепляемся, так не за сами реальные события, а за память о них; вещи эти хоть и близкие, но, безусловно, не тождественные.

Впрочем, затем она дословно – готов поручиться – произнесла следующее:

– Тьма надвигается со всех сторон. Какая жуть… Какой восторг.

Ужас, сквозивший в ее словах, охватил и меня. Когда чужую боль чувствуешь, как свою собственную, – это и есть цена, которую мы платим за любовь.

Она то погружалась в горячечный бред, то возвращалась к действительности.

Болезнь брала свое, и с каждой минутой Роуз становилось хуже. Наши с ней жизненные пути расходились в противоположные стороны. Меня ждала практически бесконечно долгая жизнь, а жизнь Роуз стремительно приближалась к концу.

В доме было темно. Окна заколочены. И все же, когда она лежала в постели в своей влажной ночной сорочке, на ее светящемся в темноте мраморно-бледном лице были ясно различимы расползшиеся красные и серые пятна. На шее вздулись шишки размером с куриное яйцо. Мне было невыносимо видеть эти изменения – будто ее терзала злая сила.

– Ничего, Роуз, ничего.

Глаза ее в ужасе распахнулись, будто что-то не спеша выдавливало их из черепа.

– Тише, тише, тише… Все будет хорошо.

Что за нелепость! Ничего хорошего уже никогда не будет.

Она едва слышно застонала, скорчившись от боли.

– Ты должен уйти, – сухо прошелестел ее голос.

Я наклонился и поцеловал ее в лоб.

– Не надо, ты заразишься, – прошептала она.

– Мне это не грозит. – На самом деле я не был в этом уверен. Но надеялся, что так оно и есть. Откуда мне было знать наверняка? Я же прожил на свете всего-навсего сорок два года (при этом выглядел на шестнадцать с небольшим, как в дни, когда впервые встретил Роуз). Но мне было все равно. За те годы, что прошли без Роуз, жизнь утратила для меня свою ценность.

Несмотря на то что мы не виделись с 1603 года, я по-прежнему всем сердцем любил ее и теперь страдал сильнее, чем от любой физической боли.

– Мы были счастливы, правда, Том? – Бледная тень улыбки скользнула по ее лицу. Я вспомнил одно давно минувшее утро: был вторник, мы шли мимо Оут-барн с тяжеленными, доверху наполненными водой ведрами и весело болтали. Я вспомнил, сколько радости дарила мне ее улыбка, ее выгибавшееся не от боли, а от удовольствия тело, как мы старались не шуметь, опасаясь разбудить ее сестру. Вспомнил, как я пешком шел домой из Бэнксайда, скользя по грязи и уворачиваясь от бродячих собак, и радовался, зная, что дома меня ждет она – и на всей земле не было человека счастливее меня.

Это время, наши разговоры, каждая мелочь, вся наша *жизнь*, смысл которой сводился к простейшей, но основополагающей истине.

– Конечно, мы были счастливы… Я люблю тебя, Роуз, я так тебя люблю!

Мне хотелось ее усадить, накормить пирогом с крольчатиной, угостить вишней, вернуть ей здоровье. Я видел: боль так измучила ее, что она уже мечтает поскорее умереть, но не понимал, чем это обернется для меня. Я не знал, что мир уже никогда не будет для меня прежним.

Мне нужно было кое-что еще. Я страстно желал получить ответ на один вопрос.

– Любимая, а где Мэрион?

Она долго смотрела на меня. Я внутренне сжался, готовясь к самому худшему.

– Она убежала…

– Что?

– Она оказалась такой же, как ты.

До меня не сразу дошло.

– Она что, перестала взрослеть?

Роуз заговорила. Ее речь то и дело прерывали вздохи, кашель и всхлипы. Я убеждал ее дать себе отдых, но она меня не послушала.

– Да. Люди начали замечать, что с годами она не меняется. Я сказала ей, что нам опять придется переехать. Ее это очень расстроило, а тут к нам заявился Мэннинг…

– Мэннинг?

– В тот же вечер она сбежала. Я искала ее, но она исчезла. Больше я ее не видела. Не представляю, где она и что с ней. Непременно найди ее, Том. Позаботься о ней. Молю тебя, Том, не жалей сил, и тогда ты ее найдешь. А со мной все будет хорошо. Скоро я встречусь с братьями…

Никогда прежде я не чувствовал себя таким беспомощным и одновременно готовым для нее на все, даже на то, чтобы убедить ее в своем всемогуществе и нашем счастливом будущем.

– Я постараюсь, милая Роуз!

– Я знаю, Том, – еле слышно прошептала она.

– О, Роуз…

Я повторял и повторял ее имя – чтобы она слышала мой голос. Мне было необходимо, чтобы она и дальше оставалась частью реальной жизни.

Властитель-время нас торопит: в путь…[4]

Она попросила меня:

– Спой что-нибудь душевное…

– Моя душа тоскует…

– Тогда спой тоскливую песню…

Я взялся за лютню, но ей хотелось слышать только мой голос. И хотя я вовсе не в восторге от своего голоса, тем более звучащего без аккомпанемента, – пусть даже у меня не было других слушателей, кроме Роуз, – я все же запел.

Ее улыбка возвращает счастье,
А хмурый вид – осеннее ненастье…

Она с трудом улыбнулась мягкой улыбкой, и мне показалось, что мир ускользает от меня. Мне захотелось последовать за ней, куда бы она ни уходила. Я не мог вообразить, как мне, со всеми моими странностями, жить дальше без нее. Конечно, некоторый опыт у меня уже был. Многие годы я жил без нее, но это была не жизнь, а прозябание. Книга без слов.

– Я разыщу Мэрион.

Она закрыла глаза, будто наконец услышала главное. Лицо ее стало серым, как январское небо.

– Я люблю тебя, Роуз.

Я вглядывался в изгиб ее бледных, покрытых волдырями губ, надеясь уловить хотя бы малейшее движение, но они застыли. Эта неподвижность вселяла ужас. Остановилось все, только пылинки кружились в воздухе.

Я обратился к Богу, просил, молил, предлагал сделку, но Господь не желал со мной торговаться. Господь меня упорно не замечал, он был глух и непреклонен. Она умерла, а я продолжил жить; разверзлась пропасть, темная и бездонная, я падал в нее, и падение мое длилось сотни лет.

[4] Уильям Шекспир. Генрих IV. Пер. Е. Бируковой.

Лондон, настоящее время

Я по-прежнему чувствовал слабость. В висках стучало. Я упорно шагал вперед, надеясь заглушить воспоминания о Чэпел-стрит. Так я дошел до Хакни. Вот оно, мое спасение: Уэлл-лейн. Теперь она зовется Уэлл-стрит. Там мы с Роуз впервые поселились и жили вместе, пока нас не оторвали друг от друга годы лишений, разлуки и чума. Домики, конюшни, амбары, пруд и фруктовые сады – они давно сгинули без следа. Я понимал, что не слишком разумно бродить по ставшим неузнаваемыми улицам в поисках давно истлевших воспоминаний, но мне надо было снова увидеть это место.

Я шел не сбавляя шага. Вероятно, это были самые оживленные в Хакни улицы. Мимо ехали автобусы, сновали покупатели. Я миновал салон мобильной связи, ссудную кассу и закусочную. И вдруг на другой стороне улицы увидел его – то самое место, где мы когда-то жили. Теперь здесь высилось красное кирпичное здание без окон с бело-синей вывеской: «ХАКНИ: СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». Тягостно сознавать, что от твоей прошлой жизни не осталось и следа. Настолько тягостно, что я невольно прислонился к стене возле банкомата, чтобы тут же извиниться перед стариком, который торопливо прикрыл ладонью свой пин-код и уставился на меня подозрительным взглядом, – несмотря на мои заверения, что я не собираюсь его грабить.

Из кирпичного здания вышел мужчина со стаффордширским терьером. И тут меня осенило. Я догадался, как мне хотя бы отчасти примириться со своим прошлым.

Надо перейти через дорогу и войти в здание.

Чуть ли не все собаки подняли дружный лай. Лишь один пес молча лежал в явно тесной для него корзине. Это было серое создание с сапфирово-синими глазами, выделявшееся на общем унылом фоне необычайно достойным видом, напоминая выпавшего из своего времени волка. Я почуял в нем родственную душу.

Перед псом лежала нетронутая игрушка. Ярко-желтая резиновая кость.

– Что это за порода? – спросил я приютскую девушку-волонтера, на беджике которой значилось имя Лу. Она почесывала покрытую экземой руку.

– Это акита, – ответила девушка. – Японская порода. Весьма редкая. Смахивает на хаски, да?

– Да.

Судя по всему, это было то самое место. Конура, в которой сидел красивый грустный пес, находилась как раз там, где была наша комната. Комната, где мы когда-то спали.

– Сколько ему? – спросил я Лу.

– Он уже пожилой. Ему одиннадцать лет. Еще и поэтому ему так трудно найти новый дом.

– Как он здесь оказался?

– Его забрали у хозяев. Они держали его не в квартире, а на балконе. На цепи. Он был в жутком состоянии. Посмотрите.

У пса на бедре темнел среди шерсти красно-коричневый шрам.

– Сигаретный ожог.

– Он выглядит таким несчастным…

– Да уж.

– Как его зовут?

– Этого мы не знаем. Мы зовем его Авраам.

– Почему?

– Высотка, из которой его забрали, называется Линкольн-тауэр.

– А, понятно, – кивнул я. – Авраам. Ему подходит. Авраам встал. Подошел ко мне и внимательно, словно хотел мне что-то сказать, уставился на меня своими сапфирово-синими глазами. Я не собирался заводить собаку. Это не входило в мои планы. И все же я сказал:

– Я хочу его взять.

Лу посмотрела на меня с удивлением:

– Вы даже не хотите взглянуть на других?

– Нет.

Тут я заметил на предплечье Лу пятна – красные, воспаленные, – и в памяти всплыл тот холодный зимний день, когда вместе с другими пациентами я сидел в приемной доктора Хатчинсона и с волнением ждал, когда он объявит диагноз.

Лондон, 1860

За окном бушевала метель. После нескольких не по сезону мягких для января дней температура резко упала. На моей памяти в Лондоне таких холодов не было с зимы 1814 года – когда разыгрывал свои шуточки Наполеон, разразился финансовый скандал и состоялась последняя «морозная ярмарка», во время которой рыночные торговцы устраивались со своим товаром прямо на льду замерзшей Темзы.

Стоило выйти на улицу, как лицо мгновенно сковывал холод. Кровь буквально стыла у тебя в жилах. Я брел две мили пешком к Блэкфрайрз-роуд, с трудом различая окружающее и ориентируясь лишь по столбам, увенчанным элегантными коваными фонарями, казавшимися тогда последним писком урбанистической моды. На Блэкфрайрз-роуд, где работал доктор Хатчинсон, в то время находился Лондонский дерматологический институт по изучению и лечению неинфекционных заболеваний кожи. По меркам Викторианской эпохи, довольно заковыристое название.

Разумеется, никакой кожной болезнью я не страдал. У меня не бывало ни раздражений, ни сыпи. С моей кожей было все в порядке, если не считать того, что ей стукнуло двести семьдесят девять лет, а выглядела она на сотни лет моложе; впрочем, все мое тело тоже было моложе на сотни лет. Если бы еще и мозг ощущал себя не старше тридцати…

Причина, по которой я обратился к доктору Хатчинсону, состояла в том, что он открыл состояние вроде моего собственного, только с обратным знаком: оно стало известным под названием *progeria*.

Термин происходит от греческого *pro*, означающего не только *до*, но и *прежде времени*, и *geras*, означающего *старость*. Преждевременное старение. Вот, собственно, что это за болезнь. Едва ребенок начинает ходить, как у него появляются странные симптомы. По мере взросления эти симптомы усугубляются.

Это симптомы старости: облысение, дряблость кожи, хрупкость костей, набухание вен, окостенение суставов, почечная недостаточность и часто – потеря зрения. Такие дети умирают в юном возрасте.

Эти злополучные дети существовали всегда. Но лишь доктор Хатчинсон впервые описал болезнь на примере шестилетнего мальчика, который облысел и страдал атрофией кожи.

Итак, по дороге к доктору я был настроен весьма оптимистично. Если кто и сможет мне помочь, так это он. Видите ли, я и впрямь в последнее время боролся изо всех сил. В течение последних двухсот лет я обшаривал Лондон и остальную часть страны в поисках Мэрион; порой, как мне казалось, встречал девушку, похожую на нее, а потом оказывался в дурацком положении. Запомнился, к примеру, случай в Йорке на улице Шамблз: меня избил пьяный сапожник, заподозрив в заигрывании с его женой лишь потому, что я спросил ее, когда она родилась. Всюду, где за это платили, я зарабатывал на хлеб музыкой; чтобы не вызывать подозрений, постоянно переезжал с места на место и менял имена. Богатства я так и не накопил. Все заработанные деньги утекали сквозь пальцы – я тратил их в основном на аренду жилья и эль.

В своих поисках я много раз терял надежду. Я потерял не только дочь – я утратил смысл существования. К примеру, до меня дошло, что ни один человек не живет дольше ста лет просто потому, что он к этому не готов. Я имею в виду, психологически. Подобно бегуну, ты *выдыхаешься*. Тебе не хватает воли, чтобы продолжать гонку. С возрастом устаешь от самого себя. Да и сама жизнь начинает повторяться. С течением времени любая улыбка, любой жест кажутся давно знакомыми. Нет таких изменений миропорядка, которые не напоминали бы прошлых изменений. И новости перестают быть новыми. Само слово *«новость»* становится шуткой. Все повторяется. Медленно нисходит по спирали. И постепенно твоя терпимость к людям, которые снова, и снова, и снова, и *снова* совершают одни и те же ошибки, улетучивается. Как будто у

тебя в голове назойливо звучит одна и та же песня: когда-то тебе нравился ее мотив, но теперь ты готов уши себе оторвать, лишь бы ее не слышать.

От всего этого часто возникает желание покончить с собой. Иногда я задумывался, не претворить ли его в жизнь. Многие годы после смерти Роуз я, не отдавая себе отчета, частенько забредал в аптеку и ловил себя на мысли: не купить ли мышьяку? Недавно накатило снова: я стоял на каком-то мосту и мечтал провалиться в небытие.

Возможно, я решился бы на это, если бы не обещания, которые я дал Роуз и своей матери.

Мое состояние мне очень не нравилось.

Я страдал от одиночества. Я имею в виду то одиночество, что завывает в душе, точно ветер в пустыне. И дело не только в том, что я терял близких людей, – я потерял самого себя. Того, каким я был, когда они были рядом.

Видите ли, в своей жизни я по-настоящему любил лишь трех человек: мать, Роуз и Мэрион. Из них двое уже умерли, а жива ли третья – я мог лишь гадать. Меня носило по волнам житейского моря, а якоря – такого, как любовь, у меня не было. Я дважды уходил в дальнее плаванье, топил себя в спиртном и не загнулся только потому, что был полон решимости отыскать Мэрион, а заодно – обрести себя самого.

Я шагал сквозь метель. Меня мучило сильное похмелье. Мне нужно очень крепко надраться, чтобы наступило похмелье, но усилий я не жалел никогда. Из-за снегопада город был еле виден: я словно шагал по еле различимому Лондону с той картины Моне, которую художнику лишь предстояло вскоре написать. На улице не было ни души; лишь подле Христианской миссии несколько человек в кепках и драной, явно с чужого плеча одежде толпились в ожидании бесплатной еды. Окоченевшие от стужи, они стояли неподвижно и молча, с отчаянием обреченных.

Я сознавал, что, скорее всего, зря пустился в путь. Но что мне оставалось делать? Мне необходимо было встретиться с доктором Хатчинсоном: если кто в целом мире и мог объяснить мне мое состояние, то это был он.

Я даже не знал, застану ли его, в такое-то ненастье.

Когда я наконец вошел в приемную, мисс Форстер, медсестра, заверила меня в том, что доктор Хатчинсон *всегда* на месте.

– Он, представьте себе, ни разу в жизни не пропустил ни одного приемного дня, – сообщила мне мисс Форстер, как, несомненно, говорила и многим другим пациентам.

В белоснежной шапочке и фартуке без единого пятнышка она казалась статуэткой, вылепленной бушевавшей снаружи метелью.

– Вам сегодня повезло, – продолжила она. – Похоже, весь Лондон мечтает получить у доктора Хатчинсона консультацию по поводу своих недугов. – Она внимательно вглядывалась в мое лицо, пытаясь определить, какая кожная болезнь меня постигла.

Следом за мисс Форстер я поднялся на три лестничных пролета; там она велела мне ждать своей очереди в прекрасно обставленной приемной: тканые обои, дорогие стулья с высокими спинками и сиденьями красного бархата. Завершали убранство роскошные стенные часы.

– У него пациент, – благоговейным шепотом, гораздо более уместным в церкви, сообщила мисс Форстер. – Вам придется набраться терпения, мистер Криббс.

(Ага, тогда я звался Эдвард Криббс – в честь давнего собутыльника из Плимута.)

– Что-что, а ждать я умею, – ответил я.

– Прекрасно, сэр, – без тени улыбки сказала она и удалилась. Я как сейчас помню ту приемную: вокруг сидели люди с жуткими пятнами на физиономиях.

– Ужасная погода, не правда ли? – обратился я к соседке с лицом, покрытым синевато-багровой сыпью.

(На протяжении четырех столетий неизменным остается одно: стремление англичан заполнить возникшую в разговоре паузу репликой о погоде; когда мне случалось жить в Англии, я сам твердо придерживался этого правила.)

– О да, сэр, – ответила она, но этим и ограничилась.

В конце концов дверь, возле которой я сидел, отворилась, и в приемной появился пациент. Одет он был прекрасно – истинный денди, – но лицо его покрывали бугристые рельефные прыщи, напоминавшие миниатюрные горные хребты.

– Добрый день! – приветствовал он меня, широко, насколько позволяла болезнь, улыбаясь; весь его вид говорил о том, что ему было явлено чудо (или хотя бы обещание такового).

Наступила присущая только врачебным приемным тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов.

Я вошел в кабинет, и первое, что бросилось мне в глаза, был сам доктор Хатчинсон. Джонатан Хатчинсон был очень представительным мужчиной. Даже в расцвет эпохи представительных джентльменов он выглядел внушительно.

Высокий, энергичный, с длинной бородой, вызывающей всеобщее восхищение. Ничем не напоминая бороду древнегреческого философа или потерпевшего кораблекрушение моряка, она была выращена по тщательно продуманному плану: спускаясь на грудь, она сужалась, пока не превращалась в светлую полоску, постепенно сходившую на нет. Вероятно, потому, что утро выдалось напряженное, я увидел в этой бороде метафорическое воплощение конечности бытия.

– Спасибо, что согласились принять меня, – сказал я и сразу об этом пожалел. В моем голосе звучала безнадежность.

Доктор Хатчинсон бросил взгляд на карманные часы. За время приема он повторил этот жест еще не раз. Не думаю, что он и вправду испытывал нетерпение; скорее делал это просто по привычке. Достаточно распространенной, надо заметить, – так в наши дни люди регулярно заглядывают в свои смартфоны.

Он пристально посмотрел на меня; взял со стола письмо. Мое письмо. И принялся выборочно читать вслух.

– *Уважаемый доктор Хатчинсон!* – начал он низким и сухим, как портвейн, голосом. – *Мне, большому ценителю Вашей работы, посчастливилось прочесть Вашу статью, описывающую открытое Вами новое заболевание, при котором тело стареет ранее отведенного ему срока… Сам я пребываю в состоянии необычном, весьма по своей природе схожем с описанным Вами, но еще более необъяснимом. …Считаю Вас единственным человеком в христианском мире, способным понять его и разгадать наконец тайну всей моей жизни…*

Он аккуратно сложил письмо, положил на стол и отодвинул в сторону. Затем внимательно вгляделся в мое лицо.

– Кожа ваша просто светится здоровьем. Это кожа совершенно здорового человека.

– Я здоров. Телесно. Гораздо здоровее большинства людей.

– Тогда что же вас беспокоит?

– Прежде чем рассказывать, я должен быть уверен в сохранении моей полной анонимности. Если вы захотите опубликовать какие-либо факты, открытые в процессе исследований, в научных журналах, мое имя не должно в них упоминаться. Это крайне важно. Вы можете это гарантировать?

– Разумеется. Признаться, вы разожгли мое любопытство. Расскажите, что у вас за беда.

Так я и сделал.

– Я стар, – просто сказал я.

– Я не с…

– Я значительно старше, чем положено обычному человеку.

Не сразу, но он, по-видимому, понял. Голос его изменился. Утратил толику привычной самоуверенности. У него вертелся на языке вопрос, хотя он явно опасался его задать.

– *Насколько* же вы стары?

– Старше, чем это возможно для обычного человека.

– Возможность, это то, что однажды уже случилось. Задача науки – установить границы возможного. Когда мы этого достигнем, – а мы наверняка достигнем, – колдовство и предрассудки отступят, останется лишь *то, что есть на самом деле*. Когда-то нельзя было и помыслить о том, что Земля не плоская, но те времена прошли. Наука, особенно медицина, не должна потакать нашим представлениям о природе. Наоборот. – Он посмотрел на меня долгим взглядом. Затем наклонился вперед и шепнул: – Тухлая рыба.

– Боюсь, я вас не понимаю.

Он откинулся на спинку стула и со скорбным видом поджал губы.

– Никто не видит связи между тухлой рыбой и проказой, а ведь она есть. Если человек ест много тухлой рыбы, проказы ему не миновать.

– Вот как?! – воскликнул я. – А я и не знал.

(Разумеется, теперь, глядя из двадцать первого столетия, я могу уверенно заявить, что потребление тухлой рыбы не приводит к заболеванию проказой; однако я живу на этом свете достаточно долго и понимаю, что в следующие двести лет, скорее всего, удастся доказать, что употребление в пищу тухлой рыбы неизбежно вызывает проказу и что доктор Хатчинсон все-таки был прав.) Прожив на свете немало лет, убеждаешься в том, что любой научно доказанный факт позднее будет непременно опровергнут, а потом подтвержден вновь. В моем детстве люди, за исключением ученых мужей, были уверены в том, что Земля плоская: они же ходили по земле и видели это своими глазами. Потом они усвоили, что Земля круглая. Но однажды в книжном магазине сети *WH Smith* я листал журнал «Нью Сайентист», целиком посвященный явлению под названием «голографический принцип». Он объединяет теорию струн, квантовую механику и проявления гравитации в виде голограммы. В двух словах суть этой обалденной теории состоит в том, что Вселенная – это двухмерная информация, записанная на космологическом горизонте, а все, что мы видим как трехмерное изображение, – не более чем иллюзия, наподобие фильма в 3D, создаваемая нашим мозгом. Таким образом, мир (как и вообще всё) снова может быть признан плоским. А может, и нет.

– Но все же, – произнес он, напоминая о вопросе, повисшем в воздухе. – Сколько вам лет?

– Я родился третьего марта тысяча пятьсот восемьдесят первого года, – ответил я. – Мне двести семьдесят один год.

Я ожидал, что он рассмеется, и ошибся. Он долго, очень долго смотрел на меня; за окном вихрился снег, голова у меня тоже шла кругом. Глаза доктора Хатчинсона расширились; он сжал пальцами нижнюю губу и наконец произнес:

– Так-так. Ладно. Тогда вопрос полностью исчерпан. Я готов приступить к осмотру и поставить вам диагноз.

Я улыбнулся. Отлично. Ради диагноза я сюда и добирался.

– Но для получения надлежащей помощи вам придется отправиться в Бетлем.

Я вспомнил, что проходил мимо этого заведения. Оттуда доносились приглушенные вопли.

– В Вифлеемскую больницу? Второй Бедлам?

– Именно.

– Но ведь там держат сумасшедших.

– Да, это психиатрическая лечебница. Там вам окажут необходимую помощь. А теперь извините, сегодня у меня много других больных.

Он кивком указал мне на дверь.

– Но…

– Я настоятельно рекомендую вам отправиться в Бетлем. Там вам помогут справиться с вашими… заблуждениями.

Наиболее модным философом той эпохи был немец Артур Шопенгауэр; он тогда был еще более-менее жив. Я читал множество его трудов; пожалуй, напрасно. Читать Шопенгауэра в состоянии меланхолии – все равно что раздеваться, когда вам холодно; однако мне вспомнилась одна его мысль:

«Человеку свойственно принимать границы собственного кругозора за границы мира».

Я-то шел к доктору Хатчинсону в полной уверенности, что иду к человеку широчайшего научного кругозора; он один способен понять мое состояние, думал я. Когда мечта развеялась, я почувствовал глубочайшую тоску. Это была гибель надежды. Я выпадал из любого кругозора. Я превратился в нечто вроде человека-невидимки.

Но тут меня осенило. Я достал из кармана монету:

– Вот, взгляните. Полюбуйтесь на этот пенни. Он времен Елизаветы. Эту монетку дала мне моя дочь, когда я вынужден был уехать.

– Монета действительно старинная. У моего друга есть серебряная монета времен Генриха Восьмого. Кажется, она называется гроут. Смею вас уверить, что мой друг родился вовсе не в эпоху Тюдоров. А гроут – монета куда более редкая, чем пенни.

– Я вовсе не заблуждаюсь. Честное слово. Я очень давно живу на свете. Я помню, как британцы открыли Таити. Я был лично знаком с капитаном Куком. Я служил в труппе «Слуги лорда-камергера»… Пожалуйста, сэр, мне очень важно это знать: приходил к вам кто-нибудь еще – девушка, женщина – в подобном состоянии? Ее зовут Мэрион, но она могла назваться как-нибудь иначе. Возможно, она выдает себя за кого-то другого. Чтобы выжить, нам часто приходится…

Доктор Хатчинсон явно нервничал.

– Пожалуйста, уйдите. Я вижу, вы сильно взволнованы.

– Конечно, взволнован. Только в ваших силах мне помочь. Мне нужно разобраться в самом себе. Понять, почему я такой, какой есть.

Я схватил его за руку. Он отдернул ее, словно боялся заразиться моим безумием.

– В двух шагах отсюда полицейский участок. Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию, и вас заберут.

Слезы выступили у меня на глазах. Фигура доктора Хатчинсона стала расплываться, делая его похожим на призрак. Я понял: пора уходить. Понял, что должен распрощаться с надеждой. Я встал, кивнул и, не говоря ни слова, вышел; я затаился еще на тридцать один год, унеся с собой историю своей жизни и свою тайну.

Лондон и Сент-Олбанс, 1860–1891

После той первой встречи с доктором Хатчинсоном я впал в состояние полнейшей апатии; оно было куда тяжелее привычных мне тоски, беспокойства, тревоги и отчаяния. Не чувствуя ничего, я почти сожалел о былых страданиях: когда тебе больно, ты, по крайней мере, понимаешь, что по-прежнему жив. Я пытался бороться, бросался в самую гущу жизни, со всем ее шумом и гвалтом. Несколько раз в одиночку отправлялся в только что появившиеся тогда мюзик-холлы, всегда садился в первые ряды, в окружении гама и хохота, и честно старался хохотать и подпевать, надеясь хоть отчасти приобщиться к чужому веселью. Но все было тщетно.

Однажды, в жаркий августовский день 1880 года, я шел из Уайтчэпела в Сент-Олбанс. Лондоном я был сыт по горло. Слишком много воспоминаний. Слишком много призраков. Пришла пора сменить личность. Моя жизнь представлялась мне чем-то вроде русской матрешки, с несколькими разными персонажами один внутри другого; стороннему наблюдателю предыдущая личность не видна, но внутри она по-прежнему существует.

Долгие годы я думал, что важнее всего создавать новую скорлупу поверх предыдущей. Постоянно двигаться вперед, постоянно меняться, превращаясь в глазах окружающих в нечто иное.

Сент-Олбанс расположен не очень далеко, но и не очень близко от Лондона. Раньше я не был с ним знаком, как и со многими другими местами в Англии. Работать я пошел кузнецом. Современным людям 1880-е годы представляются эпохой промышленного развития: фабрики, дым, копоть, но, как и любая другая эпоха, эта являла собой смешение множества разных времен. Рев устремленной в будущее новизны эхом отзывался во все еще не отжившем прошлом. Это был век лошадей и повозок, и кузнецы процветали, как никогда прежде.

Но и в Сент-Олбансе мне не стало лучше. Иногда я впадал в какой-то транс: тупо пялился на докрасна раскаленный горн, не сознавая, кто я и что здесь делаю. Хозяин, Джеремайя Картрайт, пихал меня локтем в бок или хлопал по спине, рявкнув: «Кончай витать в облаках!»

Однажды, когда в кузнице никого не было, я сделал отчаянную попытку вернуть себе способность чувствовать. Закатал рукав, вынул из пламени раскаленную железяку – заготовку подковы – и прижал к левому предплечью. Я держал ее, пока кожа у меня не зашипела и не начала поджариваться; я стоял, зажмурившись и стиснув челюсти, чтобы не заорать.

У меня и сейчас на руке шрам в виде полуулыбки; я гляжу на него, и у меня, как ни странно, поднимается настроение. Но я должен быть осторожным. Лучше не показывать этот шрам окружающим. Слишком броская примета, которая мешает мне слиться с толпой.

Но тогда мой прием сработал. Я почувствовал боль. Она ворвалась в мое тело и пронизала его с такой силой, что у меня заломило в висках. Мне стало ясно: я все-таки существую – для того чтобы чувствовать боль, необходимо быть живым, *быть собой*. Эта мысль меня успокоила: она доказывала, что происходящее со мной реально.

Тем не менее я по-прежнему стремился доказать самому себе, что еще не спятил.

И однажды меня озарило. Что, если доказательство уже существует? Я сам и есть это доказательство, а время – мой свидетель.

И тогда я решился – в последний раз – предъявить это доказательство доктору Хатчинсону.

Лондон, 1891

Доктор Хатчинсон не понял, что это я. Вернее, просмотрев список пациентов, записавшихся на прием, он не опознал меня по имени и фамилии. Неудивительно: в прошлый раз меня звали Эдвардом Криббсом, а сейчас, впервые со времен своей юности, я представился настоящим именем. Правда, только именем, но не фамилией. Я снова стал Томом. Не гугенотом Хазардом и не заурядным Смитом, а Томом Винтерсом. От моей новой фамилии веяло зимой, и это казалось мне глубоко символичным.

Теплым летним днем, четвертого июня, я въехал в город на повозке, принадлежавшей (как, впрочем, и лошадь) моему мрачному боссу Джеремайе.

Лондонский дерматологический институт по изучению и лечению неинфекционных заболеваний кожи теперь именовался Лондонской дерматологической клиникой, но в остальном все осталось точно таким, каким запомнилось мне. Та же изысканная обстановка, те же три лестничных пролета. Даже кабинет доктора Хатчинсона, в общем, не изменился, хотя беспорядка стало чуть больше. Письменный стол завален бумагами и раскрытыми книгами, кожаное кресло распорото. Все вроде бы как было, только со следами недавнего урагана.

Подобно большинству людей, доктор Хатчинсон состарился гораздо быстрее окружающей обстановки. Его некогда изысканная борода истончилась, поседела, поредела. Белки глаз пожелтели, покрытые пигментными пятнами руки скрутил артрит. А глубокий бархатный голос теперь прерывался хриплыми судорожными вздохами. Короче, передо мной был обычный человек, над которым изрядно потрудилось время.

– Так-так, мистер Винтерс. Я что-то не нахожу вашей карты.

С тех пор как я вошел в кабинет, он ни разу на меня не поднял глаз. Взгляд его был прикован к заваленному бумагами столу.

– Когда я записывался на прием, я ничего о себе не сообщил.

Только теперь он на меня посмотрел. Отметил, как неопрятно я одет, какие чумазые у меня руки, и, видимо, изумился: в его кабинете плебеи появлялись нечасто.

Я откашлялся и сказал:

– Внизу я уже оставил плату за прием. Меня гложет любопытство: вы меня узнаете?

Он оторвал взгляд от стола. Наши глаза встретились.

– Во время нашей последней встречи я назвался Эдвардом Криббсом. Припоминаете? Вы еще посоветовали мне отправиться в психлечебницу.

Хрипы стали заметно громче. Поднявшись со своего кожаного кресла, он подошел ко мне. Остановившись дюймах в десяти от моего носа, потер старческие глаза.

– Нет, – прошептал он.

– Вы меня помните. Точно помните. Я же вижу. Это было тридцать один год назад.

Он начал задыхаться, словно карабкался в гору.

– Нет! Нет-нет-нет. Этого не может быть. Это иллюзия. Должно быть, вы Маскелин либо Кук.

(Иллюзионисты Маскелин и Кук выступали с парным номером, пользовавшимся в Лондоне огромной популярностью.)

– Уверяю вас, сэр, перед вами именно я.

– Я, должно быть, сошел с ума.

Ему было проще усомниться в здравии собственного рассудка, чем признать реальность моего существования! От этого поневоле впадешь в тоску.

– Вовсе нет, сэр, ваш разум в полном порядке. Состояние, о котором я вам рассказывал, позволяющее противостоять теченью лет, кажется божьим даром, но оно одновременно и про-

клятие, и это состояние абсолютно реально. Я реален. Моя жизнь реальна. Все это более чем реально.

– Так вы не призрак?

– Нет.

– И не порождение моего сознания?

– Нет.

Он дотронулся рукой до моего лица.

– Когда вы родились?

– Я родился третьего марта тысяча пятьсот восемьдесят первого года.

– Тысяча пятьсот восемьдесят первого года, – повторил он. Не переспросил, а именно повторил: дата казалась настолько невероятной, что ему надо было произнести ее вслух. – Тысяча пятьсот восемьдесят первый год. Тысяча пятьсот восемьдесят первый год. Во время Большого лондонского пожара вам было восемьдесят пять…

– Я хорошо его помню. Мне тогда искрами опалило кожу.

Он уставился на меня с выражением палеонтолога, обнаружившего яйцо динозавра, из которого вот-вот вылупится детеныш.

– Так-так-так. Это все меняет. *Абсолютно все*. Скажите, вы один такой? Вам случалось встречать кого-нибудь вроде вас?

– Да! – с готовностью ответил я. – Однажды, во время второго плавания с капитаном Куком, я встретил такого человека. Он был родом с тихоокеанских островов. Его звали Омаи. Он стал – вы не поверите – моим близким другом. А еще… Моя дочь, Мэрион. Я не видел ее с самого детства, но ее мать говорила мне, что девочка унаследовала от меня эту особенность. Она перестала взрослеть лет с одиннадцати.

Доктор Хатчинсон улыбнулся:

– Невероятная новость – уму непостижимо!

Я тоже улыбнулся; на меня снизошел душевный покой: какое счастье, когда тебя понимают.

Радость покинула меня тринадцать дней спустя, когда из Темзы выловили тело доктора Хатчинсона.

Лондон, настоящее время

Меня продолжала мучить мигрень.

Временами боль чуть отступала, но затем снова усиливалась, всегда сопровождаясь оживлением в памяти воспоминаний. Это была не столько головная боль, сколько боль памяти. Боль жизни.

Она не отпускала меня никогда, чем бы я ни занимался. Чего только я не перепробовал – глотал ибупрофен, литрами пил воду, отлеживался в полной темноте, принимал лавандовые ванны, массировал медленными круговыми движениями виски, задерживал дыхание, слушал игру на лютне и шум прибоя, медитировал. Я купил видеокурс йоги для успокоения нервов и раз сто подряд повторил за наставником мантру: «У меня все хорошо, я расслаблен», в результате чего стал пугаться собственного голоса. Я смотрел тупые телепередачи, отказался от кофеина, уменьшил яркость на ноутбуке – но боль так меня и не оставила.

Единственное, с чем я даже не пытался бороться, – это бессонница. Я плохо сплю, и с каждым десятилетием ситуация только усугубляется.

Прошлой ночью я опять не мог заснуть и сел смотреть документальный фильм о жизни морских черепах. Этот вид не относится к чемпионам долголетия, но все же они долгожители: некоторые «дотягивают до ста восьмидесяти лет». Я поставил кавычки, поскольку оценки однодневок постоянно оказываются несостоятельными. Вспомните, как капитально они ошиблись насчет акул. Ну, чего же вы хотите? Люди есть люди. Бьюсь об заклад, что в мире как минимум найдется одна черепаха, дотянувшая до пятисотого дня рождения.

Как бы то ни было, по-настоящему меня огорчало другое: люди, увы, не черепахи. Черепахи обитают на Земле последние двести двадцать миллионов лет. С третичного периода. И с тех пор они не слишком-то изменились. Люди же, напротив, появились на Земле совсем недавно.

Не надо быть гением, чтобы после просмотра новостей прийти к выводу, что долго мы, вероятнее всего, не протянем. Другие родственные нам подвиды – неандертальцы, алтайские денисовцы и так называемые индонезийские «хоббиты» – уже проиграли игру в выживание, и, по всей видимости, то же ожидает и нас.

Однодневок это не волнует. Или тех, кому отмерено еще лет тридцать или сорок. Для них мелкий масштаб – дело привычное. Проще считать себя постоянной величиной и частью неизменной нации, с неизменным флагом и неизменными убеждениями. И воображать, что все это *имеет значение.*

Чем дольше живешь, тем яснее понимаешь, что нет ничего постоянного.

Тот, кто живет относительно долго, в конце концов превращается в беженца. Он видит, как теряет смысл его национальная принадлежность, меняется его мировоззрение и рушатся его принципы. В итоге он понимает, что суть человеческого бытия – *быть человеком.*

У черепах нет национальности. Нет флагов. Нет стратегических ядерных вооружений. Они не ведают ни терроризма, ни референдумов, ни торговых войн с Китаем. Они даже не используют *Spotify*, чтобы во время занятий фитнесом слушать любимые песни. Они не пишут романов об упадке и падении черепашьих империй. Не покупают товары в интернете и не пользуются кассами самообслуживания.

Принято считать, что понятие «прогресс» неприложимо к другим видам животных. Но ведь человеческий разум как таковой тоже не прогрессирует. Мы все те же шимпанзе, только наши дубины становятся все тяжелее. Благодаря накопленным знаниям мы понимаем, что, как и все сущее, представляем собой всего лишь сгусток квантов и частиц, однако тщимся выделиться из миздания, в котором живем, будто наше предназначение выше, чем у дерева, или камня, или кошки, или черепахи.

Итак, я здесь, голова моя полным-полна типичных человеческих страхов и горестей, сердце тревожно сжимается: сколько лет мне еще отпущено?..

Теперь, если удается поспать часа три, я считаю, что мне повезло. Раньше я принимал «успокоительный сироп» – рекомендованную Хендриком микстуру от кашля, – но, поскольку в его состав входил морфин, лет сто назад его, наряду с другими препаратами, содержащими опий, запретили. Теперь я вынужден принимать так называемые мягкие снотворные, впрочем, толку от них никакого.

Мне, конечно, следовало обратиться к врачу, но этого я делать не стал. Таково правило Общества «Альбатрос»: никаких врачей. Ни при каких обстоятельствах. Поскольку я чувствовал себя виноватым перед доктором Хатчинсоном, придерживаться этого правила было легче легкого. А вдруг у меня рак? Хотя я никогда не слыхал об опухолях у альб. Но если даже и так, расти она будет очень медленно. И впереди у меня, как минимум, еще одна среднестатистическая жизнь. Впрочем, судя по отсутствию симптомов, рака у меня нет.

Зато головная боль упорно не проходила, а мне через день выходить на новую работу. Я позавтракал хлопьями, запил их водой и повел Авраама на прогулку. Всю ночь он грыз подлокотник дивана, но я его не осуждал. У него и так проблем хватало.

Наверно, хворый пес был мне нужен, чтобы отвлечь меня от собственных бед. Породу акита, они же японские шпицы, вывели специально для гористой местности, так что Аврааму требовались ландшафты чуть более изысканные, чем грязные и закопченные бетонные ущелья Восточного Лондона. Немудрено, что он написал на ковер и погрыз диван. Не о такой жизни он мечтал.

Мы с Авраамом шли, задыхаясь от автомобильных выхлопов.

– Раньше здесь был колодец, – проходя мимо конторы букмекера, сообщил я псу. – А тут, на этом самом месте, мужчины после воскресной церковной службы играли в кегли.

Нам навстречу, не замечая ничего вокруг, шагал подросток: брюки подвернуты, футболка с надписью *The Hundreds* на пару размеров больше, чем нужно. Он показался мне нечеткой копией лондонского мальчишки семнадцатого века, одетого в широченные, по моде того времени, бриджи и блузу навыпуск. Парнишка оторвался от своего телефона и бросил на меня быстрый, одновременно озадаченный и неодобрительный взгляд. Для него я очередной набравшийся лондонец, бормочущий что-то себе под нос. А он, быть может, один из тех школьников, кого мне с понедельника предстоит учить.

Мы перешли на другую сторону улицы. На фонарном столбе висела реклама: *«КЛУБ „ОГОНЕК СВЕЧИ“. Насладитесь Ревущими Двадцатыми в лучшем лондонском баре, стилизованном под подпольное заведение времен сухого закона в США»*. Голова у меня трещала все сильнее, и я закрыл глаза. Накатили воспоминания, мучительные, как приступ кашля: вот я играю «Милую Джорджию Браун» в кабаре «Сиро» в Париже; на плече у меня лежит невесомая рука незнакомки.

Я пришел в себя в парке. Сколько лет я не садился за фортепиано. И смирился с этим – или почти смирился. Я долго убеждал себя, что игра на рояле сродни мощному наркотику; она способна спутать тебе все карты, пробудить давно увядшие чувства или погрузить тебя в бесконечную череду вариантов твоего «я». Это – нервный срыв, который подстерегает тебя ежеминутно. Сомневаюсь, что я когда-нибудь снова сяду к роялю. Я отстегнул поводок; Авраам стоял рядом и озадаченно, будто мысль о свободе ошеломила его, смотрел на меня.

Я его понимал.

Оглядевшись, я заметил мужчину, который аккуратно подбирал за своим карликовым пуделем какашки и складывал их в пластиковый пакет. Белка зигзагом взлетела в дупло бука. Из-за тучи выглянуло солнце. Авраам рысцой потрусил прочь.

И тут я увидел ее.

Неподалеку на скамейке сидела, углубившись в книгу, женщина. Я ее узнал, что со мной случается редко. Я почти не обращаю внимания на внешность окружающих людей. Одни лица сливаются с другими. Но тут вдруг до меня дошло, что именно эту женщину я видел из окна кабинета Дафны. Учительница французского. Как и тогда, держалась она очень свободно. Подобное умение выделяться на общем фоне дорогого стоит. В ней чувствовался стиль – и я имею в виду не одежду (на ней была вельветовая куртка, джинсы, очки), хотя она выглядела очень элегантно. Я имею в виду спокойствие, с каким она положила книгу на скамейку и посмотрела по сторонам. Потом чуть надула щеки, выдохнула, прикрыла глаза и, запрокинув голову, подставила лицо солнцу. Я отвернулся. Я – всего лишь мужчина, разглядывающий в парке женщину. На моем месте мог быть любой. Сейчас не 1832 год.

Но стоило мне отвернуться, как она вдруг обратилась ко мне:

– До чего милый у вас пес.

Она говорила с французским акцентом. Причем современным. Бесспорно, это она, та самая учительница. Она протянула к Аврааму руку тыльной стороной, предлагая ее обнюхать. В знак признательности он ее лизнул и даже завилял хвостом.

– Вас удостоили большой чести.

Она подняла глаза на меня, и мне стало не по себе. Ее взгляд задержался на мне чуть дольше, чем подобало. Я не столь высокого мнения о своей внешности, чтобы предположить, что так уж ей понравился. Сказать по правде, уже больше ста лет никто не удостаивал меня *таким* взглядом. В 1700-х годах, когда я выглядел лет на двадцать и выставлял свое горе напоказ, точно полученный в битве шрам, я часто ловил на себе долгие пристальные взгляды, но те времена позади. Нет, она упорно смотрела на меня по другой причине. И это меня беспокоило. Возможно, она тоже приметила меня там, в школе. Ну да. Скорее всего.

– Авраам! Авраам! Ко мне, мой хороший! Ко мне! Пес подбежал, запыхавшись; я пристегнул поводок и зашагал прочь, затылком чувствуя ее пристальный взгляд.

Дома я для начала выбрал программу седьмого класса; на слабо освещенном экране появилась тема урока, известная мне в мельчайших деталях: «Суды над ведьмами в Англии эпохи Тюдоров».

Я сознавал, что занимаюсь этим неспроста. Сознавал, почему решил стать учителем истории. Мне требовалось подчинить себе прошлое, а изучение прошлого и есть суть исторической науки, способ его упорядочить и получить над ним контроль. Способ приручить прошлое. Но история, в которой ты жил и действовал, отличается от той, что изложена в книгах и фильмах. В прошлом всегда остается то, что нельзя приручить.

Голову внезапно пронзила боль.

Я встал, побрел на кухню и рассеянно соорудил себе «Кровавую Мэри». Самый простой вариант. Без соломинки и сельдерея. Включил музыку: она порой помогает. Шестая симфония Чайковского – не пойдет, Билли Холидей – тоже нет, как и мой собственный плейлист «матросской песни» из *Spotify*; я выбрал *The Boys of Summer* Дона Хенли, написанную им только вчера (на самом деле в 1984 году). Эта песня мне понравилась сразу, как только я ее впервые услышал – в Германии, в восьмидесятые. Почему – сам не знаю. Она всегда напоминает мне о детстве, даром что написана была спустя столетия. Она походит на трогательные французские песенки, которые певала моя maman, в основном после нашего переезда в Англию. Грустные, полные тоски по прошлому. Мигрень не отступала, в голову закралась мысль: какую же невыносимую боль испытывал тогда, много лет назад, Джон Гиффорд… Я закрыл глаза. От накативших воспоминаний стало трудно дышать.

Суффолк, Англия, 1599 год

Вот что мне вспоминается. Моя мать сидит подле моей кровати и поет по-французски, аккомпанируя себе на лютне вишневого дерева, пальцы ее быстро перебирают струны, словно пытаются от чего-то убежать.

Она часто музицировала, чтобы вырваться из унылой повседневности. Никогда я не видел ее более умиротворенной, чем когда она негромко напевала *air de cour*[5], но в тот вечер сердце у нее было не на месте.

Пела она чудесно и при этом закрывала глаза, словно видела сон или что-то вспоминала; но в тот день глаза ее были открыты. Она смотрела на меня в упор; вертикальная складка прорезала гладкий лоб. Эта складка появлялась всякий раз, когда моя мать думала об отце или о том, что творилось во Франции. Она перестала перебирать струны. Опустила лютню. Ее подарил ей герцог Рошфор, когда я был еще в колыбели.

– Ты совсем не меняешься.

– Пожалуйста, мама. Не начинай.

– У тебя на лице ни волосинки. Тебе уже восемнадцать. А выглядишь ты все так же, как пять лет назад.

– Мама, я выгляжу так, как выгляжу.

– Для тебя, Этьен, время словно остановилось…

Дома я по-прежнему для нее Этьен, хотя на людях она всегда называла меня Томас.

Мне стало не по себе, но я попытался ее разубедить: – Время не остановилось. Солнце по-прежнему всходит и заходит. Лето по-прежнему сменяет весну. И тружусь я ничуть не меньше сверстников.

Мать погладила меня по голове. Для нее я был все тем же подростком, каким казался с виду.

– Не хочу, чтобы с нами случилось еще что-нибудь плохое…

Перед моими глазами всплыло одно из давних-предавних воспоминаний: мать рыдает от горя и прячет лицо в гобелене, что висит на стене зала в нашем просторном доме во Франции – в тот день мы узнали, что отец мой пал в битве под Реймсом, сраженный артиллерийским огнем.

– Со мной все будет в порядке.

– Надеюсь. Я знаю, тем, кто умеет крыть крыши тростником, платят хорошие деньги, но, может, хватит тебе работать на мистера Картера? Все видят, что крышу Гиффордам кроешь ты. А на чужой роток не накинешь платок. О тебе только и разговоров. Мы живем в деревне, сам понимаешь.

Ирония заключалась в том, что на протяжении первых тринадцати лет я взрослел очень быстро. Не то чтобы необычайно быстро, но заметно быстрее сверстников. Потому-то мистер Картер меня и нанял. Мне, мальчишке, можно было недоплачивать, хотя в свои тринадцать я был высоким крепким парнем с сильными руками. Но мое бурное взросление внезапно замедлилось и почти прекратилось, и, к несчастью, эти странности бросались людям в глаза.

– Надо уехать в Кентербери. Или в Лондон.

– Ты же знаешь, мне в городе не по себе. – Она смолкла, задумчиво одергивая юбку. Я смотрел на нее. Какая несправедливость: моя мать, которая бóльшую часть своей жизни провела в одном из красивейших замков Франции, вынуждена ютиться в двухкомнатном домишке, в глухой английской деревне, да еще и соседи смотрят на нее косо.

– Может, ты и прав. Может, нам надо…

---

[5] Куртуазная песня (*фр.*).

С улицы донесся звук. Жуткий, исполненный скорби вой.

Я быстро натянул штаны, надел башмаки и бросился к двери.

– Не надо, сынок, не ходи туда.

– Кто-то попал в беду, – возразил я. – Я должен посмотреть.

Я выскочил на улицу; солнце уже село, но небо в преддверии ночи на миг воссияло нежной синевой.

Я бежал не останавливаясь. И внезапно увидел.

Его.

Джона Гиффорда.

Он был еще далеко, но его нельзя было не узнать. Огромный, как стог сена, шел он как-то неестественно: руки свисали плетьми, точно неживые, будто их к нему прицепили. Его дважды вывернуло наизнанку; оставляя на тропе зловонные лужи, он на неверных ногах брел вперед.

За ним, громко стеная, следовала его жена Элис и, словно перепуганные лебедята, трое детей.

К моменту, когда Гиффорд добрел до деревенской лужайки, там, похоже, уже собрались все жители деревни Эдвардстоун. И тут заметили кровь. Она текла у Гиф-форда из ушей, а когда он кашлял, то лилась по бороде из носа и изо рта. Он рухнул наземь. Его жена была тут же, рядом, одной рукой она закрывала ему рот, другой ухо, тщетно пытаясь остановить кровь.

– О Джон, спаси тебя Господь, Джон!.. О Господи… Джон…

В толпе кто-то начал молиться. Некоторые, пытаясь оградить детей от ужасного зрелища, прижимали их лицом к себе. Большинство, однако, не могли оторвать глаз от происходящего, словно во власти жутких чар.

– Люцифера рук дело, не иначе, – заключил точильщик Уолтер Эрншоу, вытаращив полные ужаса глаза. Он стоял возле меня. От него разило хмелем и, как теперь говорят, у него дурно пахло изо рта.

Джон Гиффорд упал вверх лицом и больше не двигался, разве что руки у него подергивались, но все реже и реже. Он умер тут же, на лужайке, на почерневшей от крови траве.

Элис припала к телу мужа, сотрясаемая рыданиями, а прочие жители деревни толпились вокруг в молчаливом оцепенении.

Мне стало неловко при виде такого горя, и я решил уйти. Однако, пробираясь сквозь толпу знакомых, я поймал на себе чей-то взгляд: на меня в упор смотрела Бесс Смолл, жена пекаря, и смотрела она с осуждением.

– Да-да, Томас Хазард, лучше держись подальше отсюда!

В ту минуту ее слова меня смутили. Вскоре, однако, они мне вспомнятся – как предостережение.

Я напоследок обернулся и увидел Джона Гиффорда, неподвижного, как могильный курган; его огромные мертвые руки поблескивали в лунном свете. Под пристальным взглядом луны, похожей на еще одно перепуганное лицо, я ушел прочь.

Лондон, настоящее время

– Ведьмы, – произнес я учительским тоном. Тоном, к которому не очень-то прислушиваются.

Да, именно эту жизнь я выбрал из множества возможных. Жизнь человека, который стоит посреди класса перед табуном двенадцатилетних подростков, не обращающих на него никакого внимания.

– Как вы думаете, почему четыреста лет назад люди охотно верили в существование ведьм?

Я оглядел класс.

Одни ухмылялись, другие недоумевали, третьи уставились в свои телефоны; некоторых хватало на все сразу. Сейчас утро, на часах 9:35. Урок начался всего пять минут назад, но все сразу пошло не так. Урок, день, работа. Все наперекосяк.

Вероятно, карьера учителя – вовсе не начало моей новой жизни. Вероятно, это просто последнее из моих разочарований.

До того как попасть на Шри-Ланку, я восемь лет прожил в Исландии, в десяти милях к северу от рыбачьего поселка Копаскер. Я выбрал Исландию потому, что предыдущие восемь лет провел в Торонто. Торонто – лучший и счастливейший город на земле, но, несмотря на это – а возможно, в силу этого, – я был там глубоко несчастен, жил затворником, не видя ни единой души. Однажды сходил на бейсбольный матч с участием *Blue Jays.* Посреди скопища людей, ни с одним из которых меня ничто не связывало, я понял, что хочу в Исландию. А пожив отшельником в Исландии, понял, что хочу обычной жизни.

Но и обычная жизнь – не гарантия счастья. А уж жизнь учителя была чистым *притворством*. Возможно, каждый человек *кем-то* притворяется. Возможно, каждый учитель и ученик в этой школе *кем-то* притворялся. Возможно, Шекспир был прав. Возможно, весь мир – *театр*, и люди в нем – актеры. Видимо, без актерства все попросту развалится. Быть самим собой – еще не ключ к счастью; да и что это вообще значит? В каждом из нас заключено множество «я». И ключом к счастью служит личина, которая подходит тебе больше других.

Именно сейчас, глядя на ухмыляющихся двенадцатилетних юнцов, я понимал: не ту я выбрал личину.

– Так почему же люди верили в ведьм? – повторил я свой вопрос. Мимо по коридору быстрым шагом прошла Дафна. Улыбнулась мне и подняла два больших пальца в знак одобрения. Я расплылся в притворной улыбке: мол, все отлично, я прекрасно справляюсь, дело мне привычное, я занимался этим всю жизнь и ничем не напоминаю старого пса, которому не дается новый трюк.

Я снова повторил вопрос:

– Что все-таки побуждало людей верить в колдовство?

Вроде бы девочка за первой партой подняла руку, но нет, она не хочет ответить, она всего лишь зевает.

Пришлось самому отвечать на свой вопрос. Изо всех сил стараясь изгнать из памяти воспоминания, навеянные темой урока. Стараясь говорить твердо, без дрожи в голосе.

– Люди верили в существование ведьм, поскольку это сильно упрощало для них картину мира. Враг, конечно, нужен, но этого мало: людям требуется объяснение. А в неспокойные времена, да при повальном невежестве, вера в колдовство частенько выручает… Как вы думаете, кто верил в ведьм?

– Дураки, – едва слышно буркнул кто-то – я не понял, кто именно.

Впереди оставалось еще пятьдесят пять минут урока. Я улыбнулся.

– Можно и так сказать. Но это неверно. Ведь в них верили самые разные люди. Королева Елизавета Первая приняла закон против ведьм. Правивший после нее король Яков Первый, считавший себя человеком широких взглядов, даже *написал о них книгу*. Первым техническим достижением, которое способствовало распространению ложной информации, был не интернет, а печатный станок. Книги упрочивали суеверия. В ведьм верили почти все. Появились и охотники на ведьм. Они рыскали по всей стране в поисках… – Голову сжало обручем боли, и я замолк на полуслове.

В глазах зевавшей девочки за первой партой вспыхнуло сострадание.

– Сэр, вы хорошо себя чувствуете?

– Все в порядке, просто немного болит голова. Ничего, пройдет.

Раздался еще один голос. Девочка из заднего ряда спросила:

– А как они выясняли, ведьма это или нет? Что они делали?

Вопрос бился у меня в голове, точно ворона в темной комнате.

Что они делали?

Что они делали?

Что они делали?

Суффолк, Англия, 1599

Моя мать была существом сложным и противоречивым, что свойственно многим родителям. Она не чуралась нравоучений, но при этом всей душой любила удовольствия – хорошую еду, музыку, красоты природы. Будучи глубоко религиозной, могла распевать светскую *chanson*[6] с тем же упоением, с каким возносила молитвы. Почитательница природы, она заметно волновалась всякий раз, когда надо было уехать из замка. Внешне хрупкая, она отличалась стойкостью и упрямством. Я так и не понял, какие из ее странностей возникли вследствие перенесенных ею испытаний, а какие были присущи ей от рождения.

– Все в этом мире – до последней травинки, до каждого цветового оттенка – предназначено дарить нам радость, – однажды, вскоре после переезда в Англию, сказала мне мать. – Так утверждает месье Cauvin.

Мне не нравился месье Cauvin. Или Кальвин – я предпочитаю этот вариант произношения его имени. Он казался мне источником всех наших бед. Да так оно и было. Но я перехватил у него дирижерскую палочку. Тем не менее наше положение ухудшалось день ото дня, причем чем дальше, тем быстрее. И когда к нам пришли и забарабанили в дверь, я понял, что бежать нам некуда. В целом мире не было уголка, где мы могли чувствовать себя в безопасности.

Охотника на ведьм, или, как тогда именовалось его ремесло, «шило», звали Уильям Мэннинг. Это был высокий крупный мужчина с квадратным лицом, уроженец Лондона. Плешивый, но широкоплечий и сильный, с толстыми ручищами мясника. Он был наполовину слеп – или казался полуслепым – из-за бельма на левом глазу. Мы не видели, как он приехал в деревню, однако я помню, что проснулся от стука копыт лошадей, галопом проскакавших мимо нашего дома на восток. Вторым верховым был мировой судья. Я не слышал, чтобы его называли иначе, как мистер Ной. Одевался он изысканно и воображал себя благородным джентльменом. Он был высокого роста, с лицом землистого цвета. Мертвенного. Трупного (это слово я не употреблял потом лет двести или около того).

Теперь в графстве только и разговоров было что о нас, а мы и не догадывались, какие мы важные персоны, пока не раздался резкий стук в дверь.

Уильям Мэннинг схватил меня за руку. Хватка у него была медвежья. Другой рукой он указал на розовое пятнышко у меня на лице, но постарался его не касаться.

– Дьявольская отметина, – с мрачным торжеством заявил Мэннинг. – Гляньте-ка, мистер Ной.

Мистер Ной глянул.

– Вижу. Весьма зловещий знак.

Я рассмеялся. Но в душе перепугался.

– Ничего подобного, – возразил я. – Просто блоха укусила.

На вид мне по-прежнему никто не дал бы больше тринадцати. Они ждали от меня детской покорности, но уж никак не юношеской дерзости. Мэннинг злобно – иначе не скажешь – воззрился на меня.

– Раздевайся, – тихо, но непреклонно приказал Мэннинг. Я мгновенно возненавидел его. В ту самую минуту. Прежде мне некого было ненавидеть. Разве что тех, кто убил моего отца, но то была абстрактная ненависть, ведь их я в глаза не видел. Для настоящей ненависти нужен конкретный образ.

– И не думай, – бросил я.

---

[6] Песня (*фр.*).

Мать растерялась. Затем, поняв, чего от нее ждут, бросила: «Нет!» – и обругала их по-французски. Мэннинг был невежда, хотя и напускал на себя ученый вид, и не понял, на каком языке она говорит.

– Слышите? Примечайте! Она изъясняется на дьявольском наречии. Вызывает нечистых духов.

После чего распорядился закрыть дверь. К тому времени на пороге нашего дома собралась изрядная толпа селян, возбужденных разворачивающейся драмой. Среди них была и Бесс Смолл; стоя возле несчастной Элис Гиффорд, Бесс с неодобрением глядела на нас, приспешников бесов. Мистер Ной затворил дверь. Я стоял между Мэннингом и матерью. Мэннинг выхватил кинжал и приставил его к моему горлу.

Мать разделась. По ее лицу катились слезы. У меня к глазам тоже подступили слезы. Слезы страха и вины. Ведь все это случилось из-за меня. Из-за того, что физически я не такой, как все, из-за того, что мое тело не способно взрослеть.

– Если скажешь хоть слово, твоя ведьма-мать будет убита на месте, и ни ты, ни Марбас не сможете этому помешать.

Марбас. Демон ада, умеющий лечить любые болезни. Его имя я услышу еще не раз, прежде чем подойдет к концу этот кошмарный день.

Мать стояла нагая. Возле стола с оловянными мисками под похлебку. Я видел, что Мэннинг смотрит на нее с вожделением и одновременно с ненавистью – слишком уж велико было искушение. Приставив острие кинжала к ее телу, он кольнул ее сперва в плечо, затем в предплечье, затем около пупка. На коже выступили маленькие капельки крови.

– Видите, мистер Ной, кровь-то темная.

Мистер Ной взглянул.

Кровь была обычного цвета. Немудрено: это была обычная человеческая кровь. Однако мистер Ной подметил – или вообразил, что подметил, – в ней нечто особенное. Уверенность Мэннинга произвела на него впечатление.

– Да. Очень темная.

Люди видят только то, что хотят увидеть. Хотя жизнь преподносила мне этот урок уже раз сто, я так его и не усвоил. Мать вздрагивала от каждого укола кинжала, но Мэннинг был уверен: она притворяется.

– А хитрющая какая, заметили? Притворяется, будто ей больно. Похоже, заключила сделку с нечистым. Видать, странная смерть Джона Гиффорда – это цена за вечную молодость ее сына. Поистине злодейский сговор.

– Мы не имеем никакого отношения к смерти Джона Гиффорда. Я помогал ему крыть тростником крышу. Вот и все. Моя мать даже не была с ним знакома. Она почти не выходит из дома. Пожалуйста, перестаньте ее мучить!

У меня больше не было сил на это смотреть. Я перехватил руку Мэннинга. Он ударил меня по голове рукояткой кинжала, а другой рукой вцепился мне в горло и под материны причитания продолжал бить меня по голове, норовя попасть в одно и то же место. Того и гляди череп не выдержит – треснет, мелькнула мысль.

Я очнулся на полу. В голове мутилось, я не мог выговорить ни слова и мечтал об одном: мне бы силушки восемнадцатилетнего парня.

И тут Мэннинг заметил еще один блошиный укус – на сей раз у матери, возле пупка; это пятнышко напоминало маленькую красную луну, висящую над планетой.

– Та же отметина, что у мальчишки.

Мать задрожала. Раздетая донага, она не могла вымолвить ни слова.

– Это же от блохи! – крикнул я. От боли и отчаяния голос у меня дрогнул. – Обычный блошиный укус.

Я уперся руками в каменный пол, пытаясь подняться на ноги. Но получил еще один удар по затылку.

В глазах потемнело, и я отключился.

Иногда я заново переживаю все это во сне. Если засыпаю на диване, то вижу тот день. Вижу капли крови на коже матери. Вижу кучку людей в дверях. И Мэннинга, его занесенную надо мной ступню: он пинает меня, и я прихожу в себя столетия спустя.

Знаете, после этого все изменилось. Не могу сказать, что до того детство мое было идеальным, но теперь мне частенько хочется пробраться обратно, во времена *до того.* До того, как я познакомился с Роуз, до того, как увидел, что случилось с матерью, до того, до того, до того…

Уж я бы нипочем не расстался с самим собой – тем, каким был спервоначалу: просто малыш с длинным именем, который был подвластен времени и рос так же, как и все. Но возврата в прошлое нет. С прошлым можно только смириться, носить его в себе, ощущая его растущую тяжесть и моля Бога, чтобы тяжесть эта не сломила тебя окончательно.

Лондон, настоящее время

Во время обеденного перерыва я сбегал в ближайший супермаркет, чтобы купить сэндвич с копченой говядиной, картофельные чипсы и маленькую бутылочку вишневого сока.

Перед кассой стояла очередь, и я решился сделать то, чего обычно избегаю, – направился к кассе самообслуживания.

Ничего хорошего из этого не вышло. Впрочем, день у меня не задался с самого утра.

Бестелесный женский голос сообщил мне о «неопознанном предмете в упаковочной зоне», хотя в упаковочной зоне не было ничего, кроме покупок, которые я только что отсканировал.

– Пожалуйста, попросите сотрудника магазина вам помочь, – женским голосом произнес робот, будущее нашей цивилизации. – Неопознанный предмет в упаковочной зоне. Пожалуйста, попросите сотрудника магазина вам помочь. Неопознанный предмет в упаковочной…

Я оглянулся вокруг.

– Извините… Есть здесь кто-нибудь?

Никого. Ну ясно, что здесь делать персоналу? Зато я увидел группу подростков, одетых в школьную форму Окфилда, но с кое-какими вариациями: белые рубашки, несколько зелено-желтых галстуков. Они с банками напитков и пакетами с едой стояли в очереди к кассе и дружно таращились в мою сторону. По их репликам я понял: они узнали во мне нового учителя. До меня донесся дружный смех. Снова навалилось опостылевшее чувство: я живу не в своем времени. Я тупо пялился в монитор и слушал голос робота; голова раскалывалась, а в душу закралось сомнение: может, Хендрик был прав? Может, мне не стоило возвращаться в Лондон?

* * *

Шагая по коридору в учительскую, я прошел мимо женщины в очках. Той самой, что я видел в парке с книгой в руках. Учительница французского, о которой мне говорила Дафна. Та, что бесцеремонно меня разглядывала. Сегодня она в красных хлопчатобумажных брюках, черной рубашке поло и лакированных туфлях на низком каблуке. Волосы стянуты на затылке. Сразу видно: воспитанная, уверенная в себе женщина. Она улыбнулась мне:

– А, это вы. Я заметила вас тогда, в парке.

– Да-да, верно. – Я сделал вид, будто только сейчас вспомнил о той встрече. – А это вы. Я – новый учитель истории.

– Забавно.

– Да уж.

Продолжая улыбаться, она чуть нахмурила брови, будто я ее чем-то смутил. Этот взгляд мне хорошо знаком: я давно живу на свете, и от таких взглядов мне не по себе.

– Пока! – сказал я.

– Пока-пока! – отозвалась она с легким французским акцентом. Мне вспомнился лес. Моя мать что-то напевает. Закрываю глаза и вижу платановое семечко – вращаясь, словно крошечный вертолет, оно плавно опускается с густо-синего неба.

Возникло знакомое чувство клаустрофобии: пространство вокруг тебя сжимается, и во всем огромном мире нет уголка, где ты мог бы укрыться.

Так оно и есть.

Я должен идти своей дорогой. Может быть, я сумею уйти и от того, о чем она сейчас, возможно, размышляет.

Закончился мой первый учительский день. Я сидел дома. Авраам положил голову мне на колени. Он спал и видел собачьи сны. Потом вздрогнул и, тихонько поскуливая, задергался, как застрявшее между двумя кадрами изображение на экране. Интересно, что за эпизод он сейчас заново переживает? Я погладил пса. Он постепенно успокоился. В тишине раздавалось только его мерное дыхание.

– Все хорошо, – прошептал я. – Все хорошо, хорошо, хорошо…

Я закрыл глаза и четко, будто наяву, увидел здесь, в этой комнате, нависшую надо мной гигантскую фигуру Уильяма Мэннинга.

Суффолк, Англия, 1599

Уильям Мэннинг с суровым видом уставился в темнеющее небо. В его позе чувствовался наигрыш, будто он участвовал в спектакле. То была эпоха Марло, Джонсона и Шекспира, когда театром был весь мир. Даже правосудие. Даже смерть. Смерть в особенности. Мы находились милях в десяти от деревни Эдвардстоун, но все селяне уже собрались здесь. Кому-то может показаться, что в шестнадцатом веке процессы над ведьмами были делом обычным. В действительности все обстояло иначе. Подобные развлечения случались нечасто, и люди сбегались со всей округи поглазеть на зрелище, поглумиться над жертвами и почувствовать себя в безопасности в мире, где зло может быть найдено, объяснено и уничтожено.

Мэннинг обращался ко мне, но в то же время к толпе. Настоящий актер. Вполне сгодился бы труппе «Слуги лорда-камергера».

– Твою судьбу решит твоя мать. Если она утонет, станет ясно: она невиновна, и ты будешь жить. Но если она выдержит испытание водой и выживет – тогда тебя, ведьмино отродье, вместе с матерью отправят на виселицу. Ясно?

Мы с матерью стояли рядом на покрытой травой отмели реки Ларк; на руках и ногах у нас были железные оковы. Мать уже оделась, но, несмотря на теплый день, дрожала, как намокшая кошка. Мне очень хотелось подбодрить ее, но я понимал, что любое слово или жест будут истолкованы как новые козни и попытка призвать на помощь силы зла.

Они толкнули ее к берегу, на котором стоял приготовленный стул, и у меня невольно вырвалось:

– Прости меня, мама!

– Ты ни в чем не виноват, Этьен. Это ты меня прости. Я одна во всем виновата. Не надо нам было сюда приезжать. Нельзя было сюда приезжать.

– Я люблю тебя, мамочка!

– Я тоже очень тебя люблю, Этьен, – отозвалась она, и сквозь слезы я явственно различил вызов. – Я тоже тебя люблю. Крепись. Ты ведь стойкий, весь в покойного отца. Обещай, что будешь жить. Что бы ни случилось. *Ты должен жить*. Понимаешь меня? Ты особенный. Господь не случайно создал тебя таким. Ты должен найти свое предназначение. Ты будешь жить, обещаешь?

– Обещаю, мамочка. Обещаю, обещаю, обещаю…

Я смотрел, как они привязывают ее к деревянному стулу. Тщетно пытаясь защититься, она напоследок стиснула колени, и двоим мужчинам пришлось силой разнимать их. Ноги матери привязали к ножкам стула, спину прижали к его спинке. Она извивалась и кричала, когда ее железной скобой пристегивали к сиденью.

Я не видел, как они поднимали ее в воздух. Но когда она была уже очень высоко, Мэннинг велел лохматому помощнику, державшему веревку, остановиться.

– Погоди, постой-ка…

И тогда я поднял глаза и увидел свою мать на фоне синего неба. Уронив голову на грудь, она смотрела только на меня. Еще и сегодня, спустя сотни лет, я вижу ее наполненные ужасом глаза.

– Приступить к ордалии! – приказал Мэннинг, подойдя к самому берегу.

– Нет! – Я зажмурился и услышал плеск: это стул коснулся воды. Я снова открыл глаза и стал смотреть, как моя мать уходит под воду. Вот она превратилась в зеленовато-бурое пятно, но и оно исчезло. На поверхность поднялось несколько пузырьков воздуха. Уильям Мэннинг по-прежнему стоял, воздев вверх ладонь – знак помощнику, державшему провисшую веревку, чтобы не спешил поднимать мою мать со дна реки.

Я смотрел на эту мясистую красную ручищу, нечеловеческую ручищу, и молился, чтобы пальцы наконец сжались в кулак. Разумеется, мать в любом случае ждала неминуемая смерть. И хотя моя собственная жизнь висела на волоске, я страстно желал, чтобы ее вытащили из воды живой. Чтобы она снова заговорила. Я не представлял себе, как буду жить без звуков ее голоса. Когда на поверхность подняли стул с мертвым телом, с которого ручьями стекала вода, один вопрос так и остался неразрешенным. Она выдохнула из легких воздух от испуга или намеренно? Она пожертвовала своей жизнью ради меня? Ответа я не знал. И никогда не узнаю.

Но она умерла, умерла ради меня. А я остался жить – ради нее. И долгие годы сожалел о данном ей обещании.

Часть вторая
Человек, который был Америкой

Лондон, настоящее время

Вот и я.

Я на автомобильной парковке. Окончился мой второй рабочий день в школе Окфилда, и я отстегнул свой велосипед от металлической ограды возле парковки для сотрудников. Я езжу на велосипеде, поскольку никогда не доверял автомобилям. Мой велосипедный стаж достиг сотни лет, и я считаю эту двухколесную машину одним из величайших изобретений человеческого гения.

Иногда мир меняется к лучшему, иногда – к худшему. Современные туалеты с мощным смывом, безусловно, перемена к лучшему. Автоматические кассы самообслуживания – безусловно, нет. Иногда новшество может быть одновременно и к лучшему, и к худшему, взять хотя бы интернет. Или компьютерную клавиатуру. Или очищенный и расфасованный в пакеты чеснок. Или теорию относительности.

Вся жизнь такова. Не стоит бояться перемен, но не стоит и горячо их приветствовать, во всяком случае, если вам от них ни жарко ни холодно. Перемены – суть жизни. Они – единственная известная мне постоянная величина.

Я увидел Камиллу. Она шла к своей машине. Ту самую женщину, которую я встретил в парке. И вчера в школьном коридоре, где мы успели перебросить парой слов, пока из-за внезапного приступа клаустрофобии мне не пришлось уйти.

Но сейчас бежать некуда. Она подошла к машине и вставила ключ в замок. Я тем временем мучился со своим. Наши глаза встретились.

– Привет!

– Ой, привет!

– Препод истории.

Препод истории.

– Да, – ответил я. – Не могу сладить с ключом.

– Хотите – подвезу.

– Нет, – пожалуй, чересчур поспешно пробормотал я. – Я… у меня…

(Неважно, сколько вы прожили лет. Ни к чему не обязывающий разговор все равно дается с трудом.)

– Приятно было повидаться. Меня зовут Камилла. Камилла Герен. Я француженка. В смысле, преподаю французский. А еще это была моя национальность, но кто сейчас позволит себе упоминать свою национальность? Разве что идиот.

Сам не знаю зачем, в ответ я сообщил:

– А я родился во Франции.

Это не соответствовало моему резюме, а Дафна находилась в каких-нибудь метрах от нас. *Что со мной происходит? Почему мне хочется, чтобы она об этом узнала?*

Из школы вышел еще один учитель, с которым меня пока не знакомили; они с Камиллой дружелюбно попрощались: «До завтра».

– Значит, вы говорите по-французски? – спросила она.

– *Oui*. Но мой французский *un peu vieillot*… слегка устарел.

Она наклонила голову, нахмурилась. Мне был знаком этот взгляд.

– *C'est drôle. J'ai l'impression de vous reconnaître*[7]. Где же я могла вас видеть? Не тогда в парке, это само собой, а раньше? Я точно где-то вас видела.

– Вероятно, это *doppelgänger*[8]. У меня такой тип лица… Люди часто с кем-то меня путают.

Я улыбнулся – по-прежнему вежливо, но немного рассеянно. Ни к чему хорошему этот разговор не приведет. И уж точно не избавит меня от мигрени.

– Я близорука, поэтому ношу очки. Но как-то раз я участвовала в одном тестировании… – В ее голосе звучала категоричность. – Оно показало, что я обладаю феноменальной зрительной памятью. Своего рода дар природы. Особое строение височной доли. Такой зрительной памятью обладает не более одного процента людей. Необычный мозг.

Мне захотелось ее прервать. Стать невидимым. Стать обычным человеком, которому нечего скрывать. Я отвел глаза в сторону.

– Поразительно!

– Когда вы последний раз были во Франции?

– Очень давно, – ответил я. Вряд ли она настолько стара, чтобы помнить меня с 1920-х годов. Мне наконец удалось отцепить свой велосипед. – До завтра.

– Я эту задачку решу, – засмеялась она, усаживаясь в свой крохотный «ниссан». – Я вас разгадаю.

– Ха! – фыркнул я. Дождался, когда хлопнет дверца ее машины, и буркнул себе под нос: – Вот блин!..

Проезжая мимо, она посигналила и помахала мне рукой. Я махнул ей в ответ и покатил на велосипеде прочь. Проще всего было бы завтра вовсе не появляться в школе. Можно позвонить Хендрику и снова исчезнуть. Но что-то во мне, некая ничтожно малая, но опасная частица меня настоятельно требовала выяснить, откуда Камилла меня знает. Или, быть может, некой малой частице не терпелось выяснить, в чем же все-таки ее предназначение.

Позже, когда я был уже дома, позвонил Хендрик.

– Ну, и как тебе Лондон? – спросил он.

Я сидел за маленьким письменным столом (купленным в «Икее») и разглядывал пенни Елизаветинской эпохи, с которым не расставался уже несколько столетий. Обычно он хранится у меня в бумажнике, в плотно закрытом полиэтиленовом пакетике, но сейчас я выложил его на стол. Разглядывая полустертый герб, я вспоминал, как Мэрион сжимала его в кулачке.

– Вполне.

– А работа? Привыкаешь помаленьку?

Что-то в его тоне меня раздражало. Нотка снисходительности. В этом «привыкаешь» сквозила насмешка.

– Слушай, Хендрик, ты извини, но у меня голова болит. Я знаю, что ты в это время только завтракаешь, хотя уже за полдень, а здесь уже вечер, и мне рано вставать: надо подготовиться к урокам. Я вообще-то спать собирался…

– Тебя по-прежнему мучают головные боли?

– Время от времени.

– Дело обычное. В среднем возрасте такое со всеми бывает. Памяти туго приходится. Тут главное осторожность. Современная жизнь здоровья не прибавляет. Поменьше сиди за компьютером. Искусственный свет нашим глазам не на пользу. Да ничьим глазам не на пользу. Это же волны синей части спектра. Они сбивают наши суточные биоритмы.

– Ага. Точно: наши суточные биоритмы. Ладно, я, пожалуй, пойду.

Он чуть помолчал и вдруг выдал:

---

[7] Странно. У меня ощущение, что я вас уже видела (*фр.*).

[8] Двойник (*нем.*).

– Это, знаешь ли, смахивает на неблагодарность.

– Что именно?

– Твоя нынешняя позиция.

Я убрал монету в пакетик.

– Какая позиция? Нет у меня никакой позиции.

– В последнее время я много размышлял.

– О чем?

– О начале.

– О начале чего?

– Наших отношений. Когда я услышал про доктора. Когда послал телеграмму Агнес. Когда она приехала за тобой. Когда я впервые тебя увидел. Тысяча восемьсот девяносто первый год. Чайковский. Гарлем. Хот-доги. Шампанское. Регтайм. Все это. Я каждый твой день превращал в день рождения. И до сих пор *превращаю*. Или превращал бы, не будь ты так одержим мечтой жить самой что ни на есть обычной жизнью. Если бы ты выбросил из головы навязчивую идею отыскать Мэрион.

– Она моя дочь.

– Это понятно. Но посмотри, чего ты добился. Вспомни, какие жизни я тебе уже дал…

Я прошел на кухню. Включил громкую связь и налил себе стакан воды. Я пил воду большими, долгими глотками и думал о матери, испускающей под водой последний вздох. Хендрик продолжал свой монолог, а я вернулся в гостиную и открыл ноутбук.

– Я ведь, по сути, был твоей крестной феей, разве нет? А кем был ты? Золушкой, подковывавшей лошадей, – или чем ты там занимался? А взгляни на себя теперь. Пожелаешь – будет у тебя и карета, и хрустальные туфельки, и все, чего душе угодно.

Я открыл «Фейсбук». У меня там есть собственная страница. *Отсутствие* своей страницы в «Фейсбуке» теперь вызывает больше подозрений, чем ее наличие, так что Хендрик в чем-то прав (у него или, вернее, у отошедшего от дел пластического хирурга, в роли которого Хендрик сейчас проживает жизнь, тоже есть такая страница).

Ясное дело, вся информация в профиле вымышлена. Нельзя же написать, что ты родился в 1581 году.

– Ты меня слушаешь?

– Да-да, Хендрик, слушаю. Очень даже слушаю. Ты моя крестная фея.

– Я беспокоюсь о тебе, Том. Еще как беспокоюсь. Со дня нашей последней встречи я все думаю: что-то с тобой не так. Меня это сильно тревожит. У тебя в глазах тоска какая-то, что ли.

– Тоска? – устало хмыкнул я.

И вдруг кое-что заметил.

У меня в «Фейсбуке» появился новый запрос на добавление в друзья. От нее. От Камиллы Герен. Я подтвердил запрос. Затем – Хендрик все бубнил в трубке – обнаружил, что изучаю ее страницу.

Она писала на смеси французского, английского и смайликов. Цитировала Майю Энджелоу, Франсуазу Саган, Мишель Обаму, Джона Кеннеди и Мишеля Фуко. Во Франции у нее есть друг, который собирает пожертвования на лечение больных с синдромом Альцгеймера, и Камилла опубликовала ссылку на его страницу. Она сочинила несколько коротких стихотворений. Я прочитал два – «Небоскребы» и «Лес». Оба мне понравились. Чуть подумав, кликнул на ее фотографии. Мне хотелось узнать о ней больше, понять, где она могла меня видеть. Возможно, она тоже альба. Может быть, я видел ее очень *давно*. Но нет. Просмотрев фотографии, я убедился, что в 2008-м, присоединившись к «Фейсбуку», она, прямо скажем, выглядела лет на десять моложе. На двадцать с небольшим. И у нее был приятель. Эрик Венсан. Настоящий красавчик – меня аж досада взяла. На одном снимке он плавает в реке. На другом – в форме бегуна, с номером на майке. Все его фотки были снабжены тегами. До 2011 года они появля-

лись почти в каждом посте, потом, начиная с 2014-го – не было вообще ни одной. Интересно, что случилось с Эриком. Я вернулся к стихотворению «Лес» и понял, что оно посвящено ему. Но его профиля в соцсети не нашел.

Похоже, не только у меня есть тайна.

– Ты не можешь просто залечь на дно, Том. Ты же помнишь первое правило? Помнишь, что я сказал тебе в «Дакоте»? Какое наше главное правило?

На одной из фотографий 2015 года Камилла грустно смотрела прямо в камеру. Она сидела за столиком уличного кафе где-то в Париже, перед ней – бокал красного вина. На этом фото она впервые в очках. Кутается в ярко-красный кардиган. Видно, вечер выдался холоднее, чем она ожидала. На лице напряженная улыбка.

– Первое правило, – устало отозвался я, – гласит: не влюбляться.

– Именно, Том. Не влюбляться. Большей глупости нельзя себе представить.

– Не сочти за грубость, но все-таки: зачем ты звонишь? Ты же знаешь, это помогает вжиться в роль.

– В роль однодневки?

– Угу.

Он вздохнул. Прочистил горло.

– Знавал я одного канатоходца. Однодневку. Его звали Кедр. Как дерево. Странное имя. И человек странный. Работал на ярмарках Кони-Айленда. Классный был канатоходец. Ты знаешь, как отличить хорошего канатоходца от плохого?

– Как?

– Раз еще жив, значит, хороший.

Отсмеявшись над собственной шуткой, он продолжил:

– Он раскрыл мне секрет укрощения каната. По его словам, те, кто говорит, что надо расслабиться и забыть о пропасти под тобой, неправы. Секрет в обратном. Секрет в том, что *расслабляться нельзя ни на секунду*. Секрет в том, что *нельзя поверить, что ты хорош*. Нельзя никогда забывать о *пустоте под тобой*. Понимаешь, о чем я говорю? Нельзя быть однодневкой, Том. Нельзя расслабляться. Падать слишком высоко.

Прихватив телефон, я направился в ванную и стал мочиться на стенку унитаза, стараясь не попасть в воду.

– Высоко. Верно. Я так и не понял, Хендрик, зачем ты звонишь.

Я посмотрелся в зеркало и вдруг кое-что заметил. Нечто удивительное, потрясающее, чуть выше левого уха. Седой волос! Это уже второй. Первый появился в 1979-м. А к 2100-му году их, наверно, станет столько, что они будут бросаться в глаза. Большего восторга, чем при виде подобных изменений (очень-очень редких), я никогда не испытывал. Воду спущу в следующий раз, решил я и, радуясь свидетельству своей смертности, вышел из ванной.

– Я звоню тебе когда хочу. А ты берешь трубку. Иначе я начинаю волноваться. А ты знаешь, что меня волновать не следует, иначе мне придется что-нибудь предпринять. Просто знай свое место. Помни, сколь многим ты обязан Обществу. Да, нам хотелось разыскать твою дочь, но у нас не вышло. Но не забывай про все остальное. Помни, что до тысяча восемьсот девяносто первого года ты был в полной растерянности. Ни свободы. Ни выбора. Ты был сбит с толку, охвачен горем и понятия не имел, кто ты все-таки такой. Я наставил тебя на путь истинный. Помог обрести себя.

Да я до сих пор себя не обрел, вертелось у меня на языке, но я промолчал. *Я к этому и не приблизился.*

– Помни про тысяча восемьсот девяносто первый год, Том. Никогда о нем не забывай.

Он отключился, а я последовал его наставлениям. Кликнув на фото Камиллы, я мысленно вернулся в 1891 год, в тот миг, когда моя прежняя жизнь разом изменилась, стала совсем

другой; я силился это осознать. Силился понять, где я очутился – в ловушке или на свободе. А может, это тогда было одно и то же?

Небоскребы

Мне
Нравится
Как ты с наклоном
Пишешь
Стихи
Они
Напоминают
Миниатюры
Далеких
Городов
Давно ушедших
Эпох.
Небоскребы
Выстроенные
Из
Слов.

Лес

Я хочу, чтобы ты
Замедлил шаг;
Я просто хочу,
Чтобы все вокруг
Замедлилось.
Я хочу вырастить лес
Из одного мгновенья
И в этом лесу
Навсегда поселиться,
Пока ты со мной.

Сент-Олбанс, Англия, 1891

Джеремайя Картрайт посмотрел на небо и мрачно, без тени улыбки, объявил, что собирается дождь, но, пока сухо, ему надо ехать за железным ломом. И что вернется он через час, не раньше. Я остался один и, стоя возле горна, наблюдал, как металл, накаляясь, из красного становился оранжевым. Правило «куй железо, пока горячо» верно – и для жизни вообще, – но не всякий жар годится для ковки. Надо дождаться, чтобы оранжевый цвет посветлел, превратился в яркий розово-желто-оранжевый. Вот это и есть *ковочный жар*. Преображающий жар. Желтый быстро белеет, и, как только он достигнет белизны, все пропало; надо смотреть в оба и не упустить нужный момент.

Я взял заготовку, положил ее на наковальню и уже приготовился ударить, когда заметил, что рядом кто-то стоит.

Женщина. Очень странного вида.

Я до сих пор вижу ее как наяву.

Лет сорока. В черной блузке и длинной черной юбке, лица не видно из-под широкополой шляпы. Что-то слишком тепло одета – июнь идет к концу, а про адский жар в кузнице и говорить нечего. Из-за тени, падавшей на лицо незнакомки, я не сразу разглядел черную шелковую повязку у нее на левом глазу.

– Здрасте. Чем я могу вам помочь?

– Все наоборот, и скоро вы в этом убедитесь.

– В каком смысле?

Она покачала головой. Слегка поморщилась от кузнечного жара.

– Никаких вопросов. Сейчас не время. Смею вас уверить, ваше любопытство будет удовлетворено. Вы должны пойти со мной.

– Что?

– Вам нельзя здесь оставаться.

– Что?

– Я же сказала: никаких вопросов.

И тут я увидел в ее руке небольшой, отделанный деревом пистолет, нацеленный мне в грудь.

– Какого черта! Вы что, спятили?

– Вы открылись научному сообществу. Есть один институт… Мне некогда давать вам подробные разъяснения. Но если вы останетесь здесь, вас убьют.

Жара в кузнице частенько приводит к временным помутнениям рассудка, горячечным видениям. На мгновение мне показалось, что я сплю наяву.

– Доктор Хатчинсон мертв, – сообщила она спокойным и непререкаемым тоном, не просто сообщая некий факт, но подчеркивая его неотвратимость.

– Доктор Хатчинсон?!

– Убит.

Короткое слово повисло в тишине, нарушаемой лишь ревом пламени в горне.

– Убит? Но кем?

Она протянула мне вырезку из «Таймс».

«В Темзе обнаружено тело врача».

Я пробежал заметку глазами.

– Вы совершили ошибку. Ни в коем случае не следовало ходить к нему и советоваться по поводу особенностей вашего организма. Он написал о вас статью. О вашем особом случае. И дал ему название. Анагерия. Статья, весьма вероятно, пошла бы в печать. Этого нельзя было

допустить. Ни при каких обстоятельствах. Так что, боюсь, у Общества не было иного выхода. Он был обречен.

– Вы убили его?

Ее лицо блестело от жара.

– Да, я убила его, чтобы спасти множество других жизней. А теперь идемте со мной. На улице ждет коляска. Она доставит нас в Плимут.

– Плимут?

– Не волнуйтесь, не для того, чтобы предаваться воспоминаниям.

– Ничего не понимаю. *Кто* вы?

– Меня зовут Агнес.

Она открыла сумочку и достала туго набитый синий конверт. Протянула мне. Я опустил молот и взял конверт. На нем не было ни имени, ни адреса.

– Что здесь?

– Ваш билет. И документы, удостоверяющие личность.

– Что?! – ошалело воскликнул я.

– Вы давно живете на свете. У вас прекрасный инстинкт самосохранения. Но теперь вам надо уехать. Следуйте за мной. Коляска ждет. Из Плимута мы поплывем в Америку. Там и получите ответы на все вопросы.

Не сказав больше ни слова, она вышла из кузницы.

Атлантический океан, 1891

Корабли теперь другие.

Я и прежде ходил в море, но нынешнее морское путешествие оказалось совсем иным.

Судя по всему, мерой человеческого прогресса стало расстояние, на которое мы отдалились от природы. Теперь, находясь на борту парохода вроде «Этрурии», уже пересекшего половину Атлантики, ты ощущаешь себя сидящим в ресторане в лондонском квартале Мейфэр.

Плыли мы первым классом. В те годы первый класс был действительно первоклассным, и мне следовало соответствовать, чтобы не ударить лицом в грязь.

Та женщина, Агнес, захватила для меня чемодан, набитый новой одеждой, и в ресторан я пришел в элегантной саржевой тройке с широким шелковым галстуком. Разумеется, я был безупречно выбрит. Она меня брила сама, опасной бритвой, а я тем временем всерьез размышлял о том, не собирается ли она перерезать мне горло.

Из окон ресторана открывался вид на нижние палубы, где толпились пассажиры второго и третьего класса в поношенной одежде – я сам носил такую всего неделю назад; одни бродили взад-вперед, другие, опершись на перила, глядели вдаль, желая поскорее узреть остров Эллис и предвкушая начало осуществления Великой американской мечты.

Из всех людей, с которыми сводила меня жизнь, мне, пожалуй, труднее всего описать Агнес. В ней поразительным образом уживались прямота характера, отсутствие нравственных устоев и сдержанные манеры. Ах да, еще она была способна убить человека.

Она по-прежнему была в траурно-черных одеждах, в стиле королевы Виктории, и полностью соответствовала образу дамы из высшего общества. Даже повязка на глазу выглядела изысканной. Из общего стиля выбивался лишь выбор напитка – она пила виски.

Звали ее в ту пору Джиллиан Шилдс, хотя от рождения она носила имя Агнес Уэйд.

– Про себя называй меня Агнес. Я же Агнес Уэйд. Никогда не произноси это имя вслух, но мысленно называй меня только так. Агнес Уэйд.

– А ты мысленно называй меня Том Хазард.

Родилась она в Йорке в 1407 году, то есть была больше чем на сто лет старше меня. Это обстоятельство меня и напрягало, и успокаивало. Я еще не успел расспросить Агнес о ее многочисленных прошлых личинах, но один свой секрет она мне все же раскрыла: в середине восемнадцатого века она была Флорой Берн – знаменитой морской разбойницей, промышлявшей у побережья Америки.

Она заказала фрикасе из цыпленка, я – жареного луфаря.

– У тебя есть женщина?

Я медлил с ответом, и она, кажется, поняла, что допустила бестактность.

– Не волнуйся. В этом плане ты меня не интересуешь. Слишком уж ты серьезен. Мне нравятся серьезные женщины, но мужчин – если до этого доходит – я предпочитаю легкомысленных, как птички. Я спросила из чистого любопытства. Наверняка у тебя кто-то был. Невозможно прожить столько лет, и чтобы при этом у тебя никого не было.

– Была одна. Давным-давно.

– Имя-то у нее было?

– Было. Да. Имя было. – Больше я не хотел сообщать ей ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.